

СТАРШАЯ ДОЧЬ ГЕРЦЕНА (ТАТА)

ПИСЬМА. АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Публикация Н. П. Анциферова

Как сухие листья, перезимовавшие под снегом, письма напоминают *другое* лето, его зной, его теплые ночи и то, что оно ушло на веки веков; по ним догадываешься о ветвистом дубе, с которого их сорвал ветер <...> Случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим.

А. И. Герцен. Старые письма.

ВВЕДЕНИЕ

В «пражской коллекции» сохранилась большая пачка писем старшей дочери Герцена Натальи Александровны (1844—1936) к Огареву (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 195). В этой пачке содержится 91 письмо за время с 17 апреля 1863 г. по 5 августа 1874 г. Ответные письма Огарева к ней остаются неизвестными, кроме нескольких его приписок в письмах Герцена, находящихся в той же «пражской коллекции». Эти приписки, до сих пор неопубликованные, также введены нами в настоящую публикацию.

Письма Н. А. Герцен публикуются нами в извлечениях: мы взяли из них лишь то, что имеет непосредственное отношение к Герцену и Огареву, все, что может представить ценность для исследователя их биографий. Некоторые из публикуемых писем являются как бы страничками воспоминаний о Герцене, другие содержат материал для комментирования писем Герцена и Огарева, третьи перекликаются с отдельными главами «Былого и дум» или «Писем с Via del Corso». Несмотря на то, что в этих письмах речь идет преимущественно о семейной, домашней жизни Герцена и Огарева, они содержат, вместе с тем, ряд откликов на крупные общественные и исторические события шестидесятых-семидесятых годов, характеризуют людей, так или иначе связанных с Герценом и Огаревым.

Кроме писем, в публикацию введены некоторые материалы мемуарного характера из литературного наследия Н. А. Герцен.

Привлечены и материалы из других архивных фондов: письма Н. А. Герцен к П. Л. Лаврову, хранящиеся в ИМЛ при ЦК КПСС, и письма П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина и Г. А. Лопатина, хранящиеся в ЦГАЛИ.

* * *

Наталья Александровна родилась в Москве, в доме отца на Сивцевом Вражке, 13 декабря (ст. ст.) 1844 г. На следующий день Герцен записал в дневнике: «Вчера в десять минут двенадцатого родилась малютка <...> Итак, дочь! Мне хотелось дочь <...> Надобна была девочка, чтоб в ней повторилась мать...» (III, 363).

В январе 1847 г. двухлетнюю Тату увезли из России. Герцен покинул родину со всей семьей, не думая, что этот отъезд обречет его на «вечную разлуку» с Россией. Вместе с отцом и Тата оказалась навсегда отрезанной от родины. В 1852 г. она потеряла мать. Умирая, жена Герцена завещала ему: «Береги Тату, с ней надо быть очень осторожну, это — натура глубокая и несообщительная» (XIII, 557).

Характеристика шестилетнего ребенка, данная его матерью, в дальнейшем нашла подтверждение в отзывах многих, знавших старшую дочь Герцена. Герцен воспитание детей считал своим общественным делом. В письме к сыну 12 января 1866 г. он писал: «Я воспитание Таты и Ольги (ты уж стойшь на своих ногах) поставил одной из краеугольных задач моей жизни» (XVIII, 312).

На психическом сходстве Таты с матерью основывалась вера в нее Герцена как в преемницу «хорошей стороны их жизни». Он писал ей: «Будь той же простой и чисто русской девицей, как ты есть. Ты должна долею заменить в моей жизни мамашу» (X, 362).

Огарев разделял со своим другом надежды на Тату, разделял и любовь к ней, и заботы о ней. Слова Герцена об Огареве в письме от 16 декабря 1864 г.: «...его безмерная, святая любовь к детям» — относятся прежде всего к Тате. Огарев писал о ней Герцену в октябре 1859 г.: «Тут сердце, и хорошее сердце чувствуется невольно. Из нее выйдет очень благородная и любящая женщина и далеко не глупая» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 377). Многочисленные отзывы о Тате как в письмах друзей ее отца, так и в воспоминаниях о ней, подтверждают слова М. К. Рейхель, что она «привлекала к себе все сердца».

Публикуемые письма Таты к Огареву характеризуют не только ее отношение к «папе-Аге», но и его отношение к ней, своей «истинной друге». И Герцен и Огарев много потрудились над ее воспитанием (о взглядах на воспитание Таты см. письмо Герцена к Э. Рив — «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 256—258). Они стремились к тому, чтобы жизнь Таты шла «шире и шире, развиваясь» (7 июня 1860 г.). Они руководили ее чтением, стремились повлиять на развитие ее вкусов, хотели подготовить к самостоятельной трудовой жизни. «Помни, что в наше время нет серьезной собственности, кроме той, которая основана на работе» (XXI, 352), — писал Герцен сыну 1 апреля 1869 г. по поводу своей старшей дочери. Оба друга хотели видеть в Тате не только хорошего, всесторонне развитого человека, они хотели, чтобы она восприняла их идеи, стала «представителем» их «русской деятельности». 31 июля 1869 г. Герцен вновь писал сыну о Тате: «Я имею дело, которое должно продолжаться после моей смерти <...> На Тату я полагал сильнейшую надежду; у ней наши симпатии, *notre génie...*» * (XXI, 410).

Когда Тате было всего шесть лет, Герцен писал о ней М. К. Рейхель, сравнивая себя с Гамлетом: «И Фортинбрас готов — это Тата» («Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 362). Нигде Герцен, однако, не пояснил, продолжателем какого своего дела он считал Тату. Может быть, он и сам не совсем ясно представлял себе роль своей дочери как продолжателя «русской деятельности». Как будет ясно из публикуемых писем, и Огарев считал ее наследницей отцовского дела.

Насколько Н. А. Герцен могла в этом отношении оправдать возлагавшиеся на нее надежды? Она горячо любила отца и преклонялась перед ним. Многие из его идей были ею усвоены, но она не обладала способно-

* наш дух (франц.).

Н. А. ГЕРЦЕН
Фотография, 1860-е гг.
Исторический музей, Москва



стями, необходимыми для политического мыслителя и революционного борца. Революционное начало в мировоззрении Герцена по существу осталось ей чуждо. Это главное.

Чтобы быть в полном значении этого слова наследницей дела своего отца, Н. А. Герцен недоставало и ряда других качеств, в том числе полноты его образования, всесторонности его развития. В условиях кочевой жизни, в условиях «нескладицы» быта его распавшейся семьи, Н. А. Герцен не могла получить широкого систематического образования, не могла вполне развить и своих разнообразных способностей. Ей не удалось возбудить в себе «тот священный огонь», о котором писала она Огареву. Она спрашивала себя: «К чему я на свете?» Любовь к отцу побудила Тату посвятить свою молодость «придумыванию средств облегчить жизнь папаши», сглаживанию трудных взаимоотношений между лицами, его окружавшими, попыткам «уравновесия отдельных жизней» (выражение Огарева — «Литературная мысль», т. I. Пг., 1923, стр. 230). Заботы об отце, о воспитании сестер Ольги и Лизы она осознала как свою прямую обязанность.

Публикуемые письма Н. А. Герцен дороги нам не только как след жизни незаурядной русской девушки, выросшей на чужбине, но и тем, что их с волнением и любовью читал Огарев, а некоторые из них и Герцен, что на этих письмах лежит печать и их личностей. Письма ее вызвали у них живые мысли, выражавшиеся в ответных письмах. В переписке Герцена и Огарева много откликов на прочитанные ими письма Таты. Все это дает нам право включить эти письма в фонд материалов, относящихся к биографии Герцена и Огарева.

I

1863—1867 гг.

ПОЕЗДКА В РИМ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ Н. А. ГЕРЦЕН. — ФЛОРЕНТИНСКИЙ КРУЖОК РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ. — СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ С ГЕРЦЕНОМ В ЖЕНЕВЕ И ВО ФЛОРЕНЦИИ. — ВСТРЕЧА С ГАРИБАЛЬДИ

Первые письма Таты из публикуемой серии относятся ко времени ее пребывания в Риме с сестрой Ольгой и Мальвидой Мейзенбург. Они охватывают период от 17 апреля 1863 г. до 30 ноября 1864 г.

У Таты был талант художника-портретиста. Герцен решил послать дочь в Италию для обучения живописи. Но предварительно он направил ее в Брюссель к художнику Галле, вероятно, для определения ее способностей. 15 ноября 1862 г. Огарев писал своему другу, композитору В. Н. Кашперову, жившему в Италии: «Вот вам новость: Тата, которую ждем из Брюсселя, училась там живописи под руководством Gallait (первого художника), живопись — ее специальность. На зиму едет с Miss Meysenbug в Флоренцию; она увидит вас, вашу жену и передаст об наших планах...» (см. в настоящем томе, стр. 126).

А. Галле (1810—1887)—крупнейший исторический живописец своего времени, бельгиец-патриот, изображавший на своих полотнах эпизоды из эпохи борьбы за независимость («Герцог Альба в Нидерландах», «Последние дни Эгмонта» и др.). Обращение к Галле свидетельствует о том, какое значение придавали Герцен и Огарев занятиям Таты живописью.

Отпуская Тату в Италию, Герцен напутствовал ее словами: «Ты едешь для живописи. Талант у тебя есть, но для развития таланта необходим упорный, выдержанный труд. Ни таланта, ни любви к искусству недостаточно, чтобы сделаться художником <...> Итак, работа должна господствовать над всем в твоей жизни во Флоренции. Привычка к работе—дело нравственной гигиены» (5 декабря 1862 г.; XV, 563).

Еще в 1860 г., когда Тата отправилась с Н. А. Огаревой в Германию и Швейцарию на свидание с Е. А. Сатиной, Герцен и Огарев следили за тем, чтобы она обогатила свои знания и развила вкус. В письме от 15 июня Герцен упрекал ее: «Как же ты не была в галерее?... да и что же быть один раз... Там непременно надобно быть раз пять» (X, 345). Речь идет о галерее в Дрездене. К этому письму Огарев приписал:

«Что ж ты мне ни строчки не пишешь, милая Тата? А я требую, чтобы сходила в картинную галерею и написала бы мне подробно, что какое впечатление на тебя производит. Я уверен, что лучшая твоя доля будет в живописи. Обнимаю тебя и целую в лоб. Жму руку Рейхеля. Твой А г а» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 239, л. 7).

В ответ на известное нам письмо Таты, Огарев делает приписку в письме Герцена от 23 июня 1860 г.:

«Милая Тата, крепко тебя целую и радуюсь, что тебе не понравилась гольбейновская мадонна. Здесь так стали подражать старой живописи, т. е. дорафаэлевской, т. е. Гольбейну из немцев и чуть ли не Giotto из итальянцев, что на выставке тошно становится до рвоты*. Голицын и русская музыка у любителей и артистов производят furor. Addio!» (там же, ед. хр. 241, л. 48).

Итак, поездка дочерей Герцена в Италию в декабре 1862 г. была продиктована его желанием, дать им художественное образование на лучших

* Вызывает удивление, почему Огарев причисляет Гольбейна, лучшего выразителя немецкого ренессанса, к дорафаэлевской живописи, почему он скептически относится к Джотто, искусство которого знаменовало первый шаг на пути итальянской живописи к реализму? — Н. А.

образцах античного искусства и «высокого ренессанса». Вместе с тем, и Герцен, и Огарев придавали большое воспитательное значение историческим памятникам и ландшафтам Рима. Первоначально Тата со своими спутниками жила во Флоренции. В середине марта 1863 г. они получили разрешение отца переехать в Рим. 11 апреля 1863 г. Огарев писал туда Тате, вспоминая о своей жизни в Италии в начале сороковых годов:

«В Альбано посмотри на озеро, аллею и Castel Gandolfo, посмотри на удивительный наряд, на красные куртки женщин, как все стройно, красиво. Лучше Альбано и его озера ты ничего не найдешь в римской Кампанье. Нарисуй мне что-нибудь оттуда, Тата. Мне никогда не было так одиноко-хорошо, как там. Пожалуйста, нарисуй, Тата. Дай вспомнить то время из моей жизни, когда у меня в самом деле на сердце было молодо. Но вот уже первый час, а я ничего не приготовил из необходимой работы. Прощай, моя милая. Крепко жму тебе руку и рад, что тебе хорошо. Съезди в Альбано. Твой А г а» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 240, л. 2 об.).

К этому письму Огарева Герцен сделал приписку, которая начинается словами: «Вот, милая Тата, какой тебе *lettre-guide* * настрочил Ага. Как он вас всех безмерно любит, это ты знаешь и, думаю, не сомневаешься» (XVI, 205).

Сохранившийся ответ Таты на письмо Огарева, названное Герценом *lettre-guide*, а также и на другие, не дошедшие до нас письма, датирован 17 апреля. А 6 апреля 1863 г. Герцен писал дочерям: «Я очень рад, что вам в Риме так хорошо: смотрите, учитесь, читайте по камням и картинам» (XVI, 203). Письмо заканчивалось обращением к Тате: «Ты очень хорошо делаешь, что читаешь „Письма из Италии“ на месте, это — наше свидание в Риме» (там же).

Действительно, в письме Таты от 17 апреля 1863 г. (см. ниже) можно без труда обнаружить следы чтения ею «Писем из Италии». Так, впечатления Таты от Форума напоминают следующие строки из пятого «письма» Герцена: «Древний Рим пал, как могучий гладиатор, — его колоссальный остов внушает благоговение и страх <...> Когда я первый раз вышел на Капитолийскую гору и вдруг очутился над Форумом и Колизеем, я остановился, смущенный и взволнованный. Вот он — остов великого деятеля. В гигантском скелете сохранилось царственное выражение; *Forum Romanum* — великие светские мощи мира чисто светского...» (VI, 13).

Слышны в письмах Таты и отклики ее бесед с Огаревым. Так, рассуждения Таты о храме Весты и куполе Пантеона заставляют вспомнить, что писал о них Огарев: «Из произведений архитектуры я имею здесь призрастие к Пантеону <...> Круглое здание с куполом над всем зданием. Свет в отверстии купола. Фронтон и чудесная колоннада. Все вместе представляет что-то спокойное и прекрасное. Мне Пантеон всегда кажется так же доволен тем, что он выстроен, как древние были довольны тем, что жили» («Русская мысль», 1889, № 12, стр. 4).

Тату, как в свое время и Герцена, раздражало в Риме обилие праздных туристов-иностранцев («форестьеров»); с негодованием отмечает она присутствие в Риме французских солдат, посланных туда для защиты светской власти римского папы; возмущает ее и множество «попов» на улицах Рима. В ее резком протесте против аскетизма (строки о различных образах Христа в итальянском искусстве) также сказались влияние Герцена и Огарева, воспитавших в ней реалистическое мировоззрение.

Упомянутый в письме Ф. Грегоровиус — немецкий историк и искусствовед, автор восьмитомного труда «*Die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*»**, выходявшего на протяжении 1859—1872 гг. В письме

* письмо-путеводитель (франц.).

** «История города Рима в средние века» (нем.).

к сыну от 25 мая 1863 г. Герцен выразил удовольствие по поводу знакомства его дочерей с Грегоровиусом (XVI, 267).

Приводим письмо Таты к Огареву из Рима от 17 апреля 1863 г.

«Не могу тебе сказать, как твое письмо меня обрадовало, милый, добрый Ага; я так сочувствую всему, что ты говоришь и рассказываешь, что все его перечитываю,—очень, очень тебе благодарна за него и крепко целую тебя. Мы Рим тоже так полюбили, что никак не могли решиться так скоро расстаться с ним (не знаю, будет ли папаша доволен); мы хотим остаться еще май месяц здесь, чтобы хорошенько с ним познакомиться и побывать во всех местах, где ты был.— Так и ты был в Villa Borghese и тебе она понравилась, да как же не понравиться! Такая прелесть, особенно парк с своими огромными деревьями — а Monte Pincio, должно быть, переменялся с тех пор, как ты здесь был, нет — виды с него на Рим всегда будут удивительно красивыми; может, и в самом саду хорошо, но тогда только очень рано утром, а то столько иностранцев и французских солдат и попов, что ужас, и сам сад так обработан — парк Villa Borghese гораздо лучше, не правда ли?

У колодца возле Porta di ripetta мы тоже были — Михаил Петрович Боткин живет в этой части города, мы у него были на днях, но, проходя, я еще не знала, что ты тут жил, пойду опять; на самом Monte Mario мы еще не были, но непременно будем — до сих пор лучший вид на Рим и часть Кампании с S-t Pietro in Montorio,— был ты там? У фонтана Pauline. Corso может быть и наверное будет лучше через несколько недель, но все-таки не будет тем, каким ты его знал, — по той же причине, которая, по-моему, все остальное портит, — иностранцы и французы. Этих солдат столько, что они сами не знают, куда деваться; куда ни взглянешь, все видишь широкие красные шаровары и белые гетры.

Сегодня мы были на Monte Aventino, какой вид оттуда на город, целый Рим виден, — но день был ненастный, небо было покрыто серыми тучами, вдали уже виден был дождь — конечно, это имело свою прелесть, но я предпочитаю яркий, ясный, жаркий день.— Хороший тут тоже вид на S-t Pietro, в дырку замка, ключа большой двери сада,— должно это все знают, кучер нам указал на это — в самом деле, S-t Pietro виден один, отдельно, вдали, а на первом плане аллея темная — конечно, S-t Pietro лучше издали, чем вблизи. И Castel S-t Angelo я очень люблю, на него вид очень хорош с монастыря, где Т. Тассо был монахом и умер,— S-t Anofrio на Monte Janicule, но до сих пор, как я уже сказала, мне всего больше нравится вид с S-t Pietro in Montorio; тут всего больше видна бесконечная печальная Кампания, которая даже становится похожа на море, как защуришь глаза, чтоб линия горизонта сделалась еще прямой.— А потом Форум...— да, удивительная сила у этих остатков храмов, гробов, дворцов и всего прошедшего роскоша (!); конечно, это часто привязывает больше самой живой жизни, как ты говоришь, и скорее потому, что нравится не «страх», — это чувство нельзя *страхом* назвать, а как иначе назвать? — Не знаю.— Мысль о том, что тут было столько пережито.— Как я Сама уже писала, многое мне портит моя скверная память и рассеянность, т. е. что я историю плохо знаю.

У храма Весты мы тоже были, у Bocca della Verità — какая досада, что крышу так скверно ресторировали, грубыми красными кирпичами, в старину крыша была, верно, как крыша Пантеона,— вот еще чудесный храм, с своим величавым портиком! Непременно поедем в Albano, как только кончится срок нашей здешней квартиры, чтобы лишних денег не тратить, платя две квартиры; мы поедем на несколько дней на горы, чтобы побыть во всех этих местах — Albano, Tivoli, Frascati и т. д.; из Albano непременно пришлю тебе кое-что — не припомнишь ли ты

любимый вид или местечко какое-нибудь? Напиши, я тебе его отыщу и нарисую. Срок квартиры кончается в четверг, 23-го апреля.

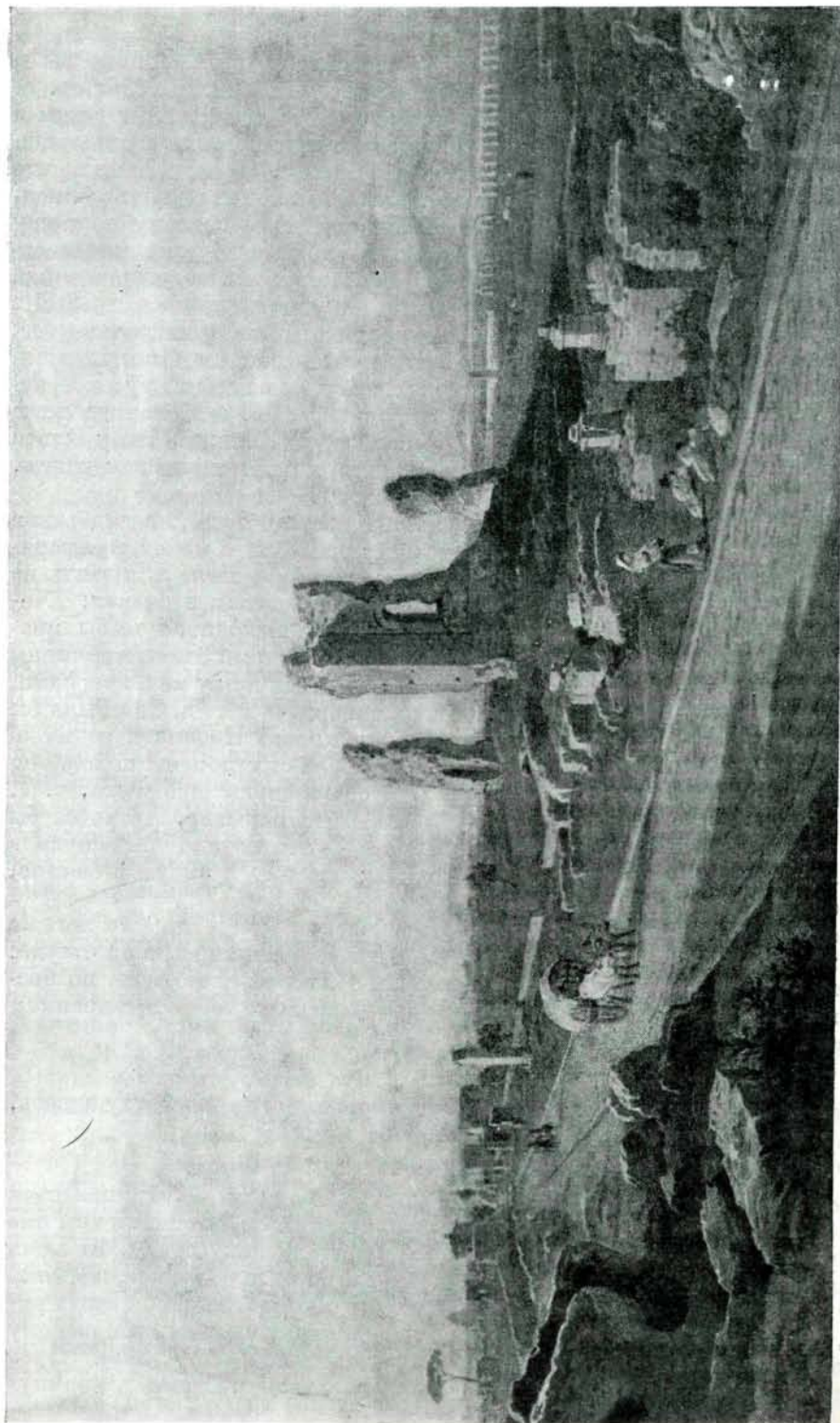
В S-ta Maria Maggiore мы тоже были, да в S-t Jean Lateran тоже, на днях еще были с Gregorovius'ом, который нам все объяснял и показывал; всего интереснее там копии с разных фресков, найденных в катакомбах, и старинные саркофаги первых христиан; когда у них еще был римский тип в головах, то большею частью найдешь Христа в виде юноши, стройного, красивого, без бороды, с овальным, но довольно полным лицом, длинными пучками и одетый в «тоже» * римской; как взглянешь на какого-нибудь византийского Христа потом, мороз по коже пробежит — какой ужас — этот тип продолжается до *Masacio*, он первый и дал Христу тип, который до сих пор рисуют, в своей фреске во Флоренции. Но откуда Michel Angelo взял тип своего Христа Sixtin'ской капеллы?

Сегодня мы собираемся идти в катакомбах, вот будет интересно! Ах, отчего папаша пишет, что приедет, и тогда прощай Италия, прощай Рим, голубое небо и т. д. — это ужасная мысль. Нет, папаша, приезжай, чтобы остаться, — нет, вздор; конечно, это невозможно, но чтобы нас оставить еще немножко, подумай-ка, какую гибель вещей нам остается еще видеть и учиться. Все так дышит и пышет искусством здесь, поневоле все пойдет хорошо, не считая даже то, что во Флоренции во все время я только три раза принуждена была лечь от головной боли — здесь, в Риме ни разу, даже не начинала, несмотря на то, что так ходим по галереям и разным местам. Ночью я почти всегда с вами, — ах, если б сны мои сбылись! Еще сегодня вы все к нам приехали и так неожиданно — и салон Orsett House был в Италии, но проснулась — и всё. Не припомнишь ли ты, Ага, Villa Doria? Мы вчера там были, парк *еще* лучше Villa Berghe-se — какие точки зрения оттуда: с одной стороны виден S-t Pietro, налево от него — M-te Mario, вдаль — горы, с противоположной стороны сада — вид на Кампанию; первый план покрыт деревьями, только налево видна часть цепи гор, высшая точка Monte Cavo, на котором стоит монастырь на самой вершине; видно, как горы мало-помалу становятся ниже и ниже и начинается Кампания бесконечная — как ее не полюбить!..»

Опасения Таты, что отец прервет их жизнь в Риме, не были основательны. Герцен писал ей 11 мая 1863 г.: «Пока решим, живите в Риме» (XVI, 243). Свое путешествие в Италию он отложил, видимо, из-за событий в Польше. В том же письме к дочери Герцен писал: «Твоя жизнь теперь в Италии тебе дала материал на годы». В связи с поездками дочерей в окрестности Рима, он напоминал Тате о страницах «Былого и дум» — описание поездки в Frascati в главе о Васильевском: «Тогдашняя жизнь у меня осталась в памяти, как величественный вечер, за которым не покой, а ночь работы» (XVI, 244). Герцен подчеркивал, что и ему Италия «дала материал на годы»; он хотел, чтобы и Тата «годами работы» доказала свое право на те блага, которые она получила в Италии. Согласно воле отца, она действительно поставила живопись в центре своих занятий. В Риме она не только осматривала город и его галереи, но и работала. Она строго судила свои рисунки, требовала критики от окружающих, не доверяла похвалам. Она пользовалась случаем посылать на суд отца и Огарева свои работы, с волнением ожидая их отзыва. 26 мая 1863 г. она писала Огареву:

«Ты не извиняйся, милый Ага, что не так часто пишешь, как бы хотелось; я очень хорошо понимаю, как это делается. Ужасно нас обрадовало позволение папашы, да мы уж так и думали, что он позволит, а то бы

* в тогу (франц. «toge»).



АШИЕВА ДОРОГА
Акаарель С. Корроди, 1868 г.
Литературный музей, Москва

не спросили. В Неаполь, не понимаю еще совсем — почему, он не хочет ехать — должно быть, причина существует, и это „basta“ *, не надобно и слишком много требовать. Теперь с нетерпением жду его приезда — надеюсь, надеюсь, что он будет доволен моими этюдами. Однако вы и прежде увидите что-нибудь моей работы в будущее воскресенье, т. е. 31 числа. М-г Фрикен уезжает и едет прямо к вам через Париж; с ним я пришла портрет, рисунок „Stella“. Сначала я хотела послать его папаше, так и следовало бы — первый рисунок из Италии. Но вспомнила, что скоро Сашино рождение, и решила послать ему. Хотя рисунок фиксирован, он нарисован одним углем и легко сотрется — поэтому попрошу тебя (если тебе покажется, что стоит того) покрыть его стеклом или самой простейшей рамкой и повесить в Сашиной комнате к его возвращению. Надеюсь, что ему понравится! Я ужасно над ним трудилась, но Stella очень трудна, не я одна отчаиваюсь над ее головой, а решительно все. Пожалуйста, напишите, как только получите, как вам понравится, и сделала ли я прогрессы. Боткин находит, что да, но все эти русские артисты не довольно строго судят (по секрету скажу, что я Мальвиде тоже не очень верю). Lehman еще не был до сих пор, нахожу, что у Ольги глаз вернее всех, она лишь очень часто делает справедливые замечания, но о прогрессах она, конечно, судить не может.

Как я вам уже писала, Stella маленького роста и худа, на вид такая тихонькая, смиренная, а сегодня она мне рассказывала о какой-то американке, которая ее обманула, — взяла внаем какой-то стол, а платить не хотела — засверкали у Stella's глаза, она зажала кулак и сказала: „Хорошо, что мы в Риме и что она с тех пор одна не выходит, а то бы проучила я ее, да я ей предсказала, поэтому она и боится. Эти американцы думают, что с нами, итальянцами, можно обращаться как у них с неграми, даже в комнату не пускать, а сквозь дверь говорить“ и т. д. Она была бы в состоянии побить ее. Уж вот итальянская кровь! Начала я ее мужа Antonio масляными красками — как трудно! До сих пор он похож, но цвет теней ужасен. Модели ходят ко мне еще раньше прежнего, т. е. ровно в 8 — с восьмью до двенадцати работаю непрерывно. Хотелось бы мне и после обеда брать, но больно дорого — это вышло бы скудо в день — по часам их не берут, а по полдням; поэтому я рисую с бюстов, что, конечно, тоже очень полезно.

Цветочки, о которых ты говоришь, я сейчас узнала; в Риме их нет, но в Albano и Фраскати земля ими покрыта; я ведь Саше посылала оттуда; разве он тебе не показывал или не получал? Я себе взяла оттуда по цветочку каждого сорта; остался у меня и этот — посылаю тебе его с крепким поцелуем.

Твоя Т а т а

Благодарю за портреты детей; всех целую, на днях опять буду писать, теперь adieu, прощайте.

„Колокола“ и „Пунша“ не получала».

Упомянутый в письме рисунок — портрет Стеллы — был привезен Герцену А. Ф. Фрикеном, русским искусствоведом, жившим в Риме и помогавшим своими советами Тате в ее занятиях искусством. 13 июня Герцен писал дочери: «Милая Тата, твой рисунок и все ваши посылки пришли. Мы внимательно смотрели на Стеллу; мне нравится общность рисунка, но я меньше привык к черному карандашу, чем к красному Фр<икен> сказывал, что художники были довольны» (XVI, 308). Через несколько дней Герцен сообщил: «Стелла твоя отдана в рамку» (XVI, 311).

* «довольно» (итал.).

Названный в начале письма Леман — очевидно Анри Леман (1814—1882), французский художник, ученик Энгра; Тата брала у него уроки живописи.

После письма от 26 мая 1863 г. в письмах Таты к Огареву, сохранившихся в «пражской коллекции», перерыв до 8 марта 1864 г. Осенью 1863 г. дочери Герцена в сопровождении Мейзенбург временно покинули Рим для встречи с Герценом. Встреча состоялась в Неаполе. На рукописи своего очерка «Трагедия за стаканом грога» Герцен сделал надпись: «Тебе, друг мой Тата, дарю я этот рассказ в память нашего свидания в Неаполе 28 сентября 1863 г.» (XVII, 271). Неаполь она покинула вместе с отцом 13 октября. Герцен с дочерьми посетил Флоренцию, где они пробыли с 4 по 22 ноября. «Прием от своих и от итальянцев далеко превзошел мои ожидания», — писал Герцен Огареву 11 ноября. 26 ноября Герцен поехал через Швейцарию в Англию, а его дочери и Мейзенбург вернулись в Рим. По возвращении в Англию, Герцен написал 12 декабря дочерям письмо (XVI, 543—544). К этому письму Огарев сделал следующую пометку:

«Милые мои детки, ну вот и pater* с нами. И рад, что он здесь, и жаль мне, что он не с вами, и жаль мне, что вы не с нами. Авось мы скоро все свидимся. Обнимаю вас крепко. Мальvidу благодарю за красную рубашу, но пот ждем. Pater старается припомнить мотив и все, что он запоет, выходит

Perche quando mi vede,
T'engriffe come un gatto?***

Писать сегодня больше не хочется. Сидячая старая женщина мне больше всего нравится. Выработывай себе жанр во всех размерах и в росте и в уменьшенной величине. Что ольгина болезнь?» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 241, л. 38).

«Красная рубаша» — *camicia rossa* — рубашка гарибальдийцев, за присылку которой Огарев благодарит Мейзенбург, была дорога ему как символ растущего национального движения в Италии, возглавляемого Дж. Гарибальди. Двустипшие, приведенное Огаревым, — из народной неаполитанской песни, которая пелась на мотив гимна *Masaniello*. Эту песню упоминает Герцен в «Письмах с *Via del Corso*» (VI, 601).

В письме от 8 марта 1864 г., написанном из Рима, Тата рассказывает о знакомстве с русскими семьями Володимировых и Устиновых. Нам остается неизвестным, при каких обстоятельствах состоялось это знакомство, но характерны те мотивы, которыми дочь Герцена объясняет свое сближение с этой семьей передовых русских людей, почитателей ее отца. О Григории Григорьевиче Устинове мы знаем только, что он был знаком с Чернышевским (XVIII, 19).

Сообщаемые Татой факты позволяют включить его имя в число тех, кто провозил в Россию сочинения Герцена и Огарева и распространял их. Описанные в письме фотографии, подчеркивающие сочувствие изображенных на них лиц к Герцену и его «Колоколу», не сохранились ни в одном из известных герценовских фондов. Ответить утвердительно на вопрос Таты о получении 100 франков от Г. Устинова в «Общий фонд» не представляется возможным: в «Колоколе» за последние месяцы 1863 г. не было объявлено о получении именно такой суммы из Италии.

В письме из Рима от 8 марта 1864 г. Тата писала:

«Уж как давно я тебе не писала, милый мой Огарев, ни на что не похоже. Но из других писем ты, верно, знаешь, что я в последнее время

* отец (лат.).

** «Почему, когда меня видишь, ты парашаешься, как кошка?» (итал.).



ЗА ТАБЕЛЬДОТОМ В ГОСТИНИЦЕ ФЕДЕР В ГЕНУЕ. ЗАРИСОВКИ Н. А. ГЕРЦЕН, 1869 г. Сохранились среди писем Н. А. Герцен к Огареву в «пранской коллекции». В нижнем поле рисунка рукой Герцена (слева): «*пол, едущий из Испании на Consile», (справа): «*Очень юный англичанин. 24 ноября 1869, Genova. H. A. Герцен».

Центральный архив литературы и искусства, Москва

немножко кутила, что раз была на бале, потом познакомилась с русским семейством, очень подружилась с молодой девушкой, Катей Володимировой. Все семейство и отец, который прошлого года умер, очень работали для распространения ваших сочинений, привозили из-за границы, давали всем читать. А Устинов, муж катиной сестры, снимал портрет с „Колоколом“ в руках; на днях они мне показали портреты товарищей: двое сидят у стола, один держит большую папашину фотографию в руке и показывает другим, — а фотография сделана в России и прислана по почте. Катя такая милая, простая и чисто русская девушка, что нельзя ее не полюбить. Страстно любит Россию, много мне об ней рассказывает.

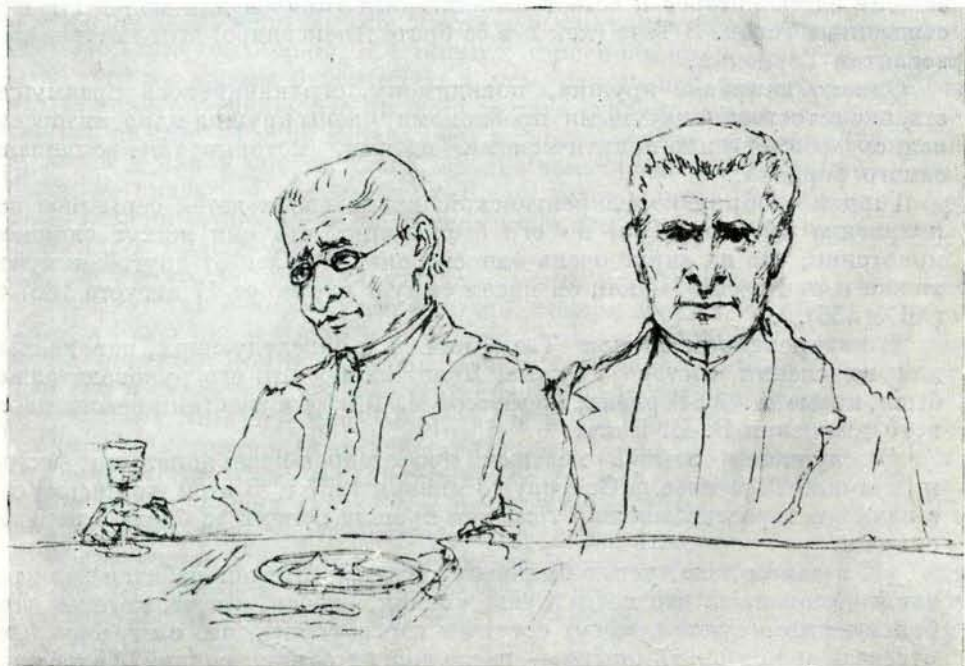
Представь себе, что она уже в России желала познакомиться со мной, все мечтала о том, как это устроит, когда будет за границей, а вот случай и соединил нас. Мы видимся почти ежедневно, я к ним захожу, когда хочу, иногда в 8-м часу, до галереи, иногда вечером, иногда они заезжают за мной в три, когда галерея запирается, мы вместе катаемся; да, Катя так просила, так манила, что опять не устояла — сшила себе простую серую амазонку и стала ездить с ними верхом по воскресеньям — и то не каждое — потому что неделю тому назад погода была нехороша; они поехали в неделю, просили меня опять, но я отказала, потому что это меня бы заставило потерять два часа в галерее. А какое это чудесное удовольствие — ты можешь представить, Ага, по Кампанье ездить теперь! Молодой человек, катин брат, Володимиров, очень мил на вид; я его вижу очень мало, он ведет совсем особую жизнь, здоровье его очень слабо, он должен быть очень много на воздухе, притом не ходить, так что он почти целый день в коляске едет; ему запрещено много заниматься, но

для музыки у него удивительный талант, и теперь он только ею и занимается. Они скоро будут в Англии, т. е. Володимеровы, Катя и брат, а Устиновы едут в Неаполь. А прогос, припомни-ка, Огарев, получил ли ты несколько время после папашиного отъезда из Лондона 100 франков из Генуи для фонда от Г. У. и было ли это объявлено в „Колоколе“? — Не забудь ответ прислать, пожалуйста...»

От 1864 г. сохранилось еще три ноябрьских письма, незначительных по содержанию. Следующее за ними письмо в «пражской коллекции» датировано 22 ноября 1866 г. Такой большой пробел в переписке Таты с Огаревым объясняется не только случайными причинами (несомненно, не все письма дошли до нас), но и тем, что Тата в конце мая 1865 г., вместе с сестрой Ольгой и М. Мейзенбург, покинула Рим, чтобы поселиться вместе с отцом в Женеве, где жил и Огарев.

Рассчитывая здесь, в Женеве, расширить и укрепить свои связи с революционной эмиграцией и тем создать более благоприятные условия для издания «Колокола» и для продолжения революционной работы, Герцен, вместе с тем, хотел наладить и семейную жизнь, собрать около себя всю свою семью. «Я еду (<...>), чтобы двинуть общее и частное, взять вас всех, — тебя, детей — и на возможно здоровый простор светлой осени», — писал он Н. А. Огаревой еще в конце 1863 г. (XVI, 539). Однако и здесь нескладница семейной жизни не исчезла, отношения с Н. А. Огаревой становились все более мучительными, что не могло не отражаться на жизни дочерей Герцена.

Возникший в 1866 г. проект переезда Таты и Ольги во Флоренцию к Саше не встретил у Герцена сочувствия. Особенно он опасался за Тату, что она окажется в чуждой ей среде иностранцев. Все же в конце концов Герцен согласился отпустить дочерей и они уехали с М. Мейзенбург.



ЗА ТАБЕЛЬДОТОМ В ГОСТИНИЦЕ ФЕДЕР В ГЕНУЕ. ЗАРИСОВКИ Н. А. ГЕРЦЕН, 1869 г.

Сохранились среди писем Н. А. Герцена к Огареву в «пражской коллекции»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

В первом из писем флорентинского периода (от 22 ноября 1866 г.) Тата вспоминает свою «одинокую жизнь» в Женеве с отцом и рассказывает Огареву о своих занятиях и новых друзьях:

«...наша жизнь очень мило устроилась. Может быть, ты читал мое последнее письмо к папаше и уже кое-что об этом знаешь, но повторение, верно, тебе не надоеет, не правда ли, милый Ага? Мне не хочется, чтобы ты был несправедливым к нашему кружку флорентинскому. Я помню, что когда я еще была в Женеве и вы только переписывались с Сашей и Мальвидой о моей поездке во Флоренцию, — ты как-то говорил, что все здешнее общество не может иметь на меня хорошее влияние в одинокой моей жизни с папашей. Во многом это справедливо, и мне самой было так хорошо, исключая те дни, когда папаша уезжал, — но хорошо и побыть с людьми, а то совсем одичаешь — отучаешься даже говорить. Итак, вот видишь, гениев у нас покамест нет в нашем кружке, но и пустых светских франтов тоже нет. У каждого свое дело, каждый работает по своей части, а по вечерам собираются то у нас, то у М^{ме} Schiff — покамест назначены два вечера: по понедельникам приходят к нам, по четвергам собираются у Шиффа. Каждый, по очереди, должен кое-что почитать или составить лекцию о чем-нибудь, касающемся его специальности. Бакст добрый так увлекся, что сам предложил прочитать лекцию — о чем — еще не знаем.

Когда чтение кончено, начинают бомбардировать несчастного «élu» * вопросами. — Никто нам по этим вечерам не мешает, потому что всем чужим велено говорить, что нас дома нет. — Воскресенье назначенный вечер у Шиффа для всех, но он всегда сидит себе преспокойно в своем кабинете, работает или сидит за микроскопом...».

Приведенный отрывок дает некоторое представление о занятиях кружка флорентинской молодежи, к которому примкнула Тата. Господствовавший здесь интерес к естествознанию был типичен для молодежи шестидесятых годов. В Тате (как и в ее брате Александре) этот интерес был воспитан Герценом.

Однако внимание кружка, повидимому, ограничивалось преимущественно естественнонаучными проблемами: члены кружка мало интересовались общественно-политическими идеями, которые так волновали самого Герцена.

Герцен одобрял во флорентинской жизни своих детей серьезное направление их интересов, но его беспокоило, что они живут слишком монотонно, что их «круг очень односторонен и далек от другой кипучей жизни и от России», — как он писал сыну в письме от 17 августа 1867 г. (XIX, 435).

В цитированном письме Таты, как и в последующих, нет данных для выяснения состава кружка. Ясно только, что его руководителями были, кроме А. А. Герцена, профессор М. Шифф и участник революционного движения В. И. Бакст.

О слушании лекций местных профессоров-итальянцев по физике и ботанике Тата писала Огареву 13 января 1867 г. В этом же письме она с волнением рассказывала о том, как прошла лекция ее брата о нервной системе:

«И в самом деле, успех был неожиданный. Битком набитая зала так заинтересовалась, что когда Саша кончил, сказав, что те, которые всех больше интересуются, могут остаться переспросить, что он готов на все отвечать и повторить опыты, — после долгих рукоплесканий больше половины остались и образовали тесный кружок вокруг нашего худенького „недопрофессорчика“».

* «избранника» (франц.).

О «блистательном» успехе этой же лекции своего сына, состоявшейся 6 января, Герцен с удовлетворением писал Огареву и Тхоржевскому (XIX, 187 и 188). 18 января 1867 г. Герцен сам приехал во Флоренцию. В последующих письмах Тата пишет преимущественно о нем, о его мыслях, настроениях, самочувствии. Первое из них написано 21 февраля, когда Герцен был в Венеции (уехал 17 февраля, пробыв там десять дней).

«Давно я с тобой не болтала, дорогой мой Ага. Не буду терять время, объясняя *почему*, — лучше сейчас же начну с разными рассказами и этим поправлю все дело.

Ты знаешь, конечно, что папаша в Венеции, что он первые пять минут был в восхищении и сейчас мне написал. Сегодня мы получили второе письмо, он уже пишет что „*Venise est la plus belle absurdité*“ *, что жить там невозможно, но взглянуть необходимо.

Я очень боюсь, что бедный папаша не был очень доволен своим пребыванием здесь. Может, он тебе писал, что начало было даже очень печальное; туча скоро рассеялась, но мне все-таки грустно думать, что у папаши и у Саши до такой степени нетерпеливые характеры, что они никогда жить вместе не могут. И это всего яснее видно из самых вздорных, глупых случайностей, как несчастный обед, который дал повод неприятному разговору, о котором я говорю. Я сама частью виновата была. Папаша сделал замечание нашей девушке, чтоб она за обедом носила блюда по такому-то порядку, наблюдая *лета* и *род*. Это было сказано полусуто — и Саша на это полусуто заметил, что „к чему это? Не вводи церемонии, папа“ — к несчастью, в присутствии Monod **. Но папа тут же мне сказал научить девушку. Это мне все казалось так неважно, и я все приняла за полусутку, посмеялась да с несчастным моим рассеянием забыла всю историю. На следующий день блюда подаются по-старому. Папаша мне сделал очень резкое замечание за невниманье. Положим, я была очень виновата, но неужели папаша мог думать, что резкие слова на меня больше действуют, чем тихое замечание или ласки? Мне это было так больно. Я с таким нетерпением его ждала, так радовалась, что мы втроем будем опять с ним, что резкий тон его я никак не могла понять — знаю, что он меня до того огорчил, что я не могла удержаться от слез. Я ясно видела, что и думать нечего о жизни вместе, т. е. с Сашей и папой вместе. Саша, сделав замечание, что „папа шутит, ты, Тата, не плачь“, — уж совсем испортил дело. Папа не понял, что всего больше меня огорчило — он утешал меня тем, что резкое его замечание относилось больше к Саше!

Как же это могло меня утешить, когда меня огорчало то, что папа вообще мог так нехорошо выражаться, говоря с нами, а будь это обращено к Саше ли, к Ольге или ко мне — это все равно — и это три дня после приезда! Долго это меня мучило, но делать нечего — это факт. Так как я давно уже видела, что никакой возможности нет устроить общей жизни с Natalie и Meysenbug, так я теперь вижу, что с папой и Сашей никогда не устроишь. А я, пожалуй, со всеми уживусь, характер у меня не такой вспыльчивый и обидчивый. Отчего у Саши характер такой крутой? Отчего папашин характер портится? Или, может быть, это была минутная вспыльчивость, потому что после этого ничего не было...».

Приведенная в начале письма фраза Герцена о Венеции взята из его письма от 20 февраля: «*Soyez persuadée que Venise est la plus belle absurdité — que l'humanité ait faite...*» *** (XIX, 216). В этом оригиналь-

* Венеция — это самая великолепная нелепость (франц.).

** Габриэль Моно, впоследствии ставший мужем О. А. Герцен. — Н. А.

*** Будьте уверены, что Венеция — самая великолепная нелепость из всех, созданных человечеством (франц.).

ном, чисто герценовском определении верно и точно выразился главный мотив в общем комплексе впечатлений Герцена от прославленного города. В очерке «Venezia la bella», включенном в «Былое и думы» (напечатано в 1868 г. в VIII книге «Полярной звезды»), именно этот мотив был развит Герценом в блестящую характеристику города.

Выразительно описанный Татой случай за обедом наглядно рисует ту повышенную раздражительность, которая была свойственна Герцену в последние годы его жизни. Если в данном отдельном случае это и могло быть «минутной вспыльчивостью», как предполагает Тата, то, вообще говоря, подобные вспышки были не случайны и обращали на себя внимание близких. Еще 5 мая 1866 г. Огарев писал Герцену: «Я с глубоким горем смотрю на возрастание твоей раздражительности <...> Мне кажется, что твоей раздражительностью ты много теряешь влияния кругом себя» («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 422). Как на одну из причин этого, Огарев указывает на отношения с Н. А. Огаревой, но вместе с тем ему понятно было и другое: «Общие вопросы также сильно возводят твою раздражительность в ту степень, где ты страдаешь всем — и современной нелепостью, и подлостью, и бедностью мозга молодого поколения <...>, и собственным временным неуспехом — и страдаешь до того, что самая задача как будто теряется из виду, является каким-то делом отчаянным, потерянным, и ты только иногда натягиваешь в себе веру в нее, а, в сущности, всего больше звучит раздражительность» (там же, стр. 423).

С присущей Огареву чуткостью и проницательностью преданного друга он указал в этом письме на сложные причины, влиявшие на характер Герцена. Можно думать, что известную роль в этом играло и начавшееся уже заболевание диабетом, которое было определено врачами только в начале 1868 г.

В последней части того же письма, помеченной 23 февраля, Тата сообщила Огареву:

«Живописец Ге сделал отличный портрет папаши. Вот это будет историческая картина! Как только он высохнет, я возьмусь за копию...».

По свидетельству Н. Н. Ге, дочь Герцена присутствовала на всех сеансах, пока он писал портрет. Художник, приступая к работе, имел в виду всех тех, кому дорог Герцен «как человек, как писатель», то есть тоже придавал этому портрету историческое значение. Герцен писал в это же время Огареву: «Портрет Ге — *chef d'oeuvre*. Тата будет его копировать» (XIX, 215).

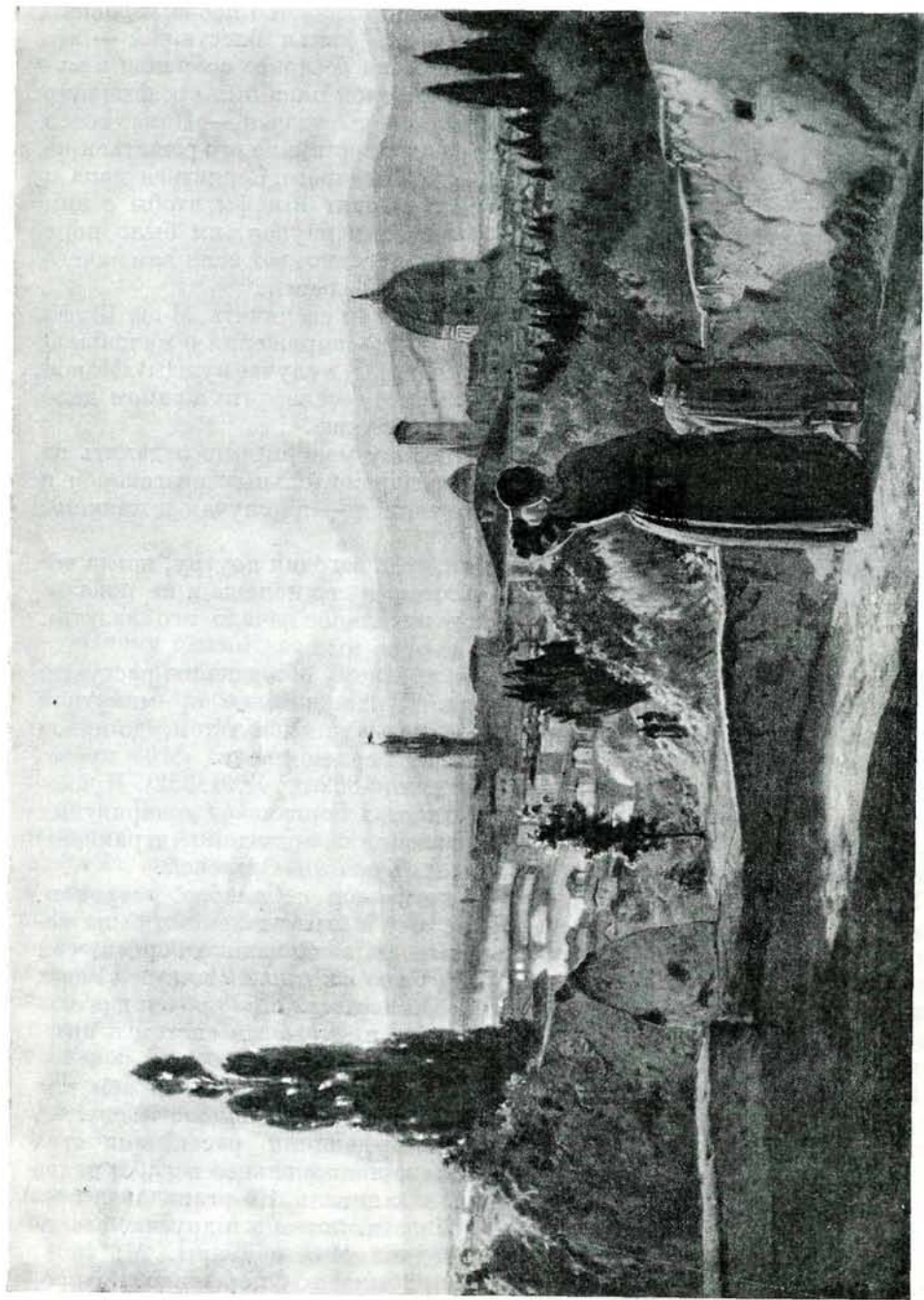
Однако по случайной причине, в связи с временным отъездом Ге, копирование началось не сразу. 18 мая Тата писала Огареву:

«Ге, наконец, вернулся; ему очень досадно, что он мне не отдал *портрет* до отъезда, но дело в том, что он думал вернуться через неделю, а остался шесть. Но портрет остается во Флоренции к моим услугам».

Тата не ограничилась снятием копии, она, одновременно с Ге, самостоятельно работала над портретом отца, и он стал одной из лучших ее живописных работ (он воспроизведен по авторской копии в т. 62 «Лит. наследства» — фронтиспис); подробнее о портретах Герцена работы Н. Н. Ге и Н. А. Герцен см. в настоящем томе, стр. 759—760).

Письмо от 10 марта 1867 г. написано в день отъезда Герцена из Флоренции в Ниццу, где в это время находилась Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой. Ответное письмо Огарева на письмо Таты от 21 февраля (оно остается нам неизвестным) вновь привлекло ее внимание к вопросу о настроении Герцена — этому и посвящено настоящее письмо:

«Благодарю тебя за твое письмецо, добрый мой Огарев. Папаша только что уехал, — один Саша поехал его провожать, потому что все



ФЛОРЕНЦИЯ

Картина маслом Н. Н. Ге, 1868 г.
Музей русского искусства, Киев

простужены, а погода ужасная, т. е. дождик шел целый день. — Милый папаша, отъезд его веселее, чем приезды!

Ты не думай, Ага, что я увеличивала что-нибудь в рассказе, но теперь я с другой стороны вижу, до какой степени *среда* действует на папашу. Как он здесь становится все веселее и веселее, особенно после хорошего впечатления Венеции. Наконец, как *букет*, финал блестящий — все наши знакомые мужеского пола отправились на вечернее собрание в музей у prof. Matteucci. Саша читал лекцию, которой папа был чрезвычайно доволен, — и весь сегодняшний день был очень удачен. — Папа хотел сперва ехать в четыре часа, но погода ужасная заставила его решиться на прямой путь, т. е. прямо в Геную по железной дороге. Сердиться папа и не думал — пошел со двора, в это время приходят Шиффы, чтобы с ним проститься; дождались они его, но, когда он вернулся, им было пора ехать домой к обеду. Папа сказал: „Ах, как досадно, вот если вам ничего раз поголодать, оставайтесь — мы вместе пообедаем...“

Вот *idée lumineuse!** Я побежала, велела стол увеличить, М-ше Шифф побежала домой дать некоторые приказания, распоряжения о маленькой Мими, воротилась с Гуго Шиффом и с *супом* (меры, в случае нужды). Monod тоже пришел, все это было так живо, мило, весело, что в самом деле можно сказать, что последние дни были всех лучше.

Я по всему этому вижу, что если б папашу можно было отдалить от разных неприятных дряг в Женеве, от раздражительных разговоров и переговоров с Natalie, он бы совсем отучился — да случая и причины не было бы быть нетерпеливым.

Твое письмоцо пришло очень некстати, т. е. сегодня поутру, когда все были в хорошем расположении духа, поэтому я его папаше и не показывала — не хотелось мне напоминать ему печальное начало его визита.

В этом письме Тата подошла к более глубокому объяснению растущей нервозности и раздражительности отца. Предположение о «минутной вспыльчивости» отброшено, вместо него выдвинута мысль о том, «до какой степени среда действует на папашу». Сам Герцен писал: «Мне нужно <...> Anregung** со стороны среды» (1 апреля 1869 г.; XXI, 352). Примечательны и ее слова о желательности отдалить Герцена от «неприятных дряг» в Женеве (имеются в виду отношения с «молодой эмиграцией») и от «раздражительных разговоров» с Н. А. Тучковой-Огаревой.

Упомянутый в письме Маттеучи — профессор в Спеколе, астроном. Прочитанная А. А. Герценом на собрании у Маттеучи лекция была посвящена проблемам нервной деятельности. Об этой лекции Герцен, сам присутствовавший на ней, писал Огареву в тот же день, 10 марта: «Успех Саши вчера был полный и заслуженный. Он свою лекцию прочел щегольски, не останавливаясь, не ломаясь, просто, прекрасным слогом и интересно» (XIX, 239).

После отъезда Герцена из Флоренции «самым важным событием для Таты явилась ее встреча с Гарибальди, описанная в письме от 18 апреля. Она ехала к Гарибальди, взволнованная недавними рассказами отца о его свидании в Венеции с героем борьбы за национальное освобождение Италии. Гарибальди в своих воспоминаниях писал: «Я организовал крестовый поход сначала в Венецианской области, потом и в других, расположенных у Рима» (Дж. Г а р и б а л ь д и. Мои мемуары. М., 1931, стр. 166). Осуществляя этот «поход», он прибыл и во Флоренцию. 18 апреля 1867 г. Тата писала Огареву:

* блестящая мысль! (франц.).

** возбуждение (нем.).

ЛИЗА ГЕРЦЕН

«Фотография, начало 1860-х гг.

Исторический музей, Москва



«Начну самым важным событием, милый мой Ага: вчера вечером мы были у Гарибальди! — Третьего дня М-me Mario встретила Ольгу и сказала ей: „Гарибальди здесь. Если вы хотите его видеть, приходите завтра вечером — we'll be alone with few gentlemen“ *. Ну, я так и ожидала, что выйдет очень глупо, ведь везде целыми толпами его ожидают. — Мы поехали и, подъезжая, увидели толпу карет, а наверху устройство было пре-глупое. В первой комнате сидел Гарибальди в чересчур оригинальном костюме: — так, как он представлен на последних фотографиях — папаша их видел здесь. Какая-то шитая бархатная шапка, пестрая шинель на красной рубашке — и так он сидел, окруженный дамами, которые на него смотрели и ничего не говорили; ужасно глупое устройство, мужчины все были в другой комнате. Однако, когда мы вошли и М-me Mario сказала, что мы дочери Герцена, он был чрезвычайно мил и любезен. Я села возле него, он сейчас стал спрашивать о папе, просил ему кланяться, спросил тоже: „Où est donc Alexandre?“ ** А бедный Саша лежал с страшной головной болью и тошнотой. Но зато он пойдет теперь к нему.

Какая славная голова у Гарибальди, и такое тихое, доброе выражение. Очень жаль, что нельзя его видеть спокойно, но все-таки довольна, что его видела...»

Герцен, узнав о встрече его дочерей с вождем итальянского освободительного движения, писал Ольге 24 апреля 1867 г.: «Желаю тебя особенно поздравить с знакомством с Гарибальди, пишу тебе на бумаге *zu schön*» *** (XIX, 274). В письме от 12 ноября Герцен сообщил сыну о портрете Гарибальди, сделанном Татой (XXI, 148).

* у нас будет только несколько человек (англ.).

** «А где же Александр?» (франц.).

*** такой красивой (нем.).

II

1867—1869 гг.

ПОПЫТКИ СПЛОТИТЬ СЕМЬЮ. — КОНГРЕСС ЛИГИ МИРА И СВОБОДЫ. — БОЛЕЗНЬ ОГАРЕВА. — ПОРТРЕТ ЛИЗЫ. — ГЕРЦЕН В ВИШИ. — СОЧИНЕНИЕ ОГАРЕВА «С УТРА ДО НОЧИ» («ДЕНЬ»). — ШУТОЧНАЯ ПЬЕСА Н. А. ГЕРЦЕН «ФОТОГРАФИИ С ОРИГИНАЛАМИ» — НЕРВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ Н. А. ГЕРЦЕН

В мае 1867 г. Тата, по желанию Герцена, приехала из Флоренции в Ниццу, где жила Н. А. Тучкова-Огарева с Лизой. Герцен надеялся, что неприязнь Наталии Алексеевны к Тате не помешает им наладить совместную жизнь, которая создаст условия для благотворного влияния старшей его дочери на неуравновешенный характер Лизы.

В письме от 3 июля из Ниццы Тата знакомит Огарева со своей жизнью в Ницце: называет прочитанные ею книги (возможно, указанные ей отцом), рассказывает о неудавшейся попытке собрать вместе всю семью, о встречах с семейством Гарибальди (родственников Джузеппе Гарибальди); письмо заканчивается воспоминанием о жизни в Ницце в 1850—1851 гг., в котором отражен живой образ Герцена.

«...Ты спрашиваешь тоже, что я сама делаю. Ты понимаешь, что я почти целый день с Лизой; свободные минуты мы, большую частью, посвящали чтению. Когда для Лизы понятно, мы сидим втроем, а то вдвоем с Natalie... Ты из моих писем к папаше, верно, знаешь, что я читала, теперь же мы кончили мемуары Benvenuto Cellini, взяли роман George Sand'a, так как я так мало знакома с ее сочинениями, — „Le chateau des Désertes“ ...»

Я с некоторого времени готовлю папе сюрприз и так боюсь, что не удастся. Ты знаешь, как ему хотелось, чтобы мы как-нибудь все соединились летом, т. е. Natalie, Лиза, Meysenbug, Ольга, я и он, конечно; как только я узнала, что Meysenbug решается серьезно на такое длинное путешествие и едет в Венецию вместо San Fegenza, которое только несколько часов от Флоренции, я немедленно написала, прося и умоляя их приехать сюда. Как это было бы мило! Но до сих пор не имею ответа, не понимаю что это значит. Natalie как будто испугалась, когда я ей сказала, но я ее уговорила и объяснила, что Ольга ведь уж не ребенок, что ее собственный нрав переменился к лучшему и что следует это сделать для папаша. Наконец, она согласилась. Ты можешь себе представить, с каким нетерпением я жду ответа от Мальвиды.

С семейством Гарибальди мы видимся очень часто. Отец чрезвычайно некрасив, лицо фауна, но умен; мать хороша собой, мила и добра; дети очень милы, я их очень полюбила, потому что девочка Нини, лет шести, мне очень напоминает Ольгу, когда она была маленькая, а мальчик, лет двух, так похож на бедного Лёля-бой характером и даже лицом. Такой же тихий, серьезный, умный. Раз отец его учил меня называть „M-elle Natalie“. Ребенок стал меня называть „Patalie, Tatalie“ и, наконец, „M-elle Tampie“, и так меня прозвали Mademoiselle „Tant-pis“ *.

Четверг. Ну вот я и получила ответ от Мальвиды, отказ. Она говорит, что долго колебалась, но недоверье взяло верх; теперь они уже в Венеции, во вторник выехали из Флоренции. Мне ужасно жаль, я почти уверена, что это короткое время все прошло бы очень хорошо — очень жаль. Ты лучше папе не говори совсем об этом; если б удалось, это был бы милый сюрприз ему — а так, он теперь не думает об этом, так, пожалуйста, не напоминай ему <...>

Как приятно на каждом шагу встречать старых знакомых, между народом; с тех пор как мы в новом доме, мы ходим в „établissement des

* «Тем хуже» (франц.).

quatre frères baigneurs" *. Это семейство Georges. Девушка Marianna, теперь почтенная „mater familias" **, меня учила плавать в 1850—51 году. Они нас очень хорошо помнят. Папа бросал маленькие монеты в море, мальчишки ныряли и приносили их...».

В письме из Ниццы от 25 сентября 1867 г. Тата откликнулась на со-званный в Женеве съезд «Лиги мира и свободы», который открылся 9 сентября под председательством Гарибальди. Герцен получил приглашение участвовать в конгрессе, но ответил отказом. «... Я нахожу, что мы в ложном положении с запад<ными> демократами, и до объяснения работать вместе не можем», — писал он сыну 14 сентября (XX, 9). Когда председатель учредительной комиссии конгресса Барни отказался огласить на съезде письмо Герцена с объяснением мотивов его отказа, Герцен напечатал его в № 1 «Kolokol» за 1868 г. под заглавием «Un fait personnel» *** (XX, 96—101).

Огарев, недовольный отказом Герцена, принял участие в работах съезда. Тата стала на сторону отца, она разделяла его скептическое отношение к «писовке» (от англ. «pease» — мир) и возмущалась поведением Барни:

«А вот pater и хорошо сделал, что остался с нами, а как же Барни посмел не читать его письмо публично? Как это глупо!..».

Не одобряя участия Огарева, она все же была удовлетворена тем уважением к Огареву, которое выразилось в избрании его вице-президентом конгресса от русской секции:

«Как нам было забавно читать, что ты выбран вице-президентом, и так жалели, что не видели тебя во всем блеске».

И тут же она выразила свою тревогу в связи с бурным заседанием конгресса:

«Я ведь за тебя побоялась, когда услышала, что у вас там на конгрессе драка была».

Огарев, видимо, в конце концов признал правоту Герцена и писал ему 12 сентября:

«Конгресс все-таки не удался. Были речи очень хорошие, но до дела не доходившие (<...> Конгресс кончился мизерабельно ****) («Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 470 и 472).

17 ноября 1867 г. Герцен вместе со старшей дочерью выехал из Ниццы во Флоренцию. В письме, начатом 4-го и законченном 6 декабря, Тата писала Огареву о том трудном положении, в которое она была там поставлена Н. А. Тучковой-Огаревой, и высказывала сожаление, что ей не удалось довести до конца задуманное перевоспитание Лизы. В этом же письме она сообщала:

«Сижу я у своего окна, из которого вижу окна жалкого Виктора-Эммануила, который продолжает бояться и скрываться. Увидим, что он сегодня сделает при открытии камеры. Мы пойдем с папашей на площадь, увидим, как народ его примет...».

Король объединенной Италии прибыл тогда во Флоренцию (тогдашнюю столицу Италии) для открытия парламента — «камеры». Употребленный Татой эпитет «жалкий» напоминает отзыв Герцена о Викторе-Эммануиле — «ничтожество, из которого пытались сделать „bella e grande figura“» ***** (XIV, 731).

В феврале 1868 г. Огарев сломал себе ногу. В своих воспоминаниях Н. А. Тучкова-Огарева писала о том, как был потрясен этим Герцен, как Огарев «с большим присутствием духа вынул из кармана ножик

* «заведение четырех братьев-купальщиков» (франц.).

** «мать семейства» (лат.).

*** «Личное дело» (франц.).

**** самым жалким образом (от франц. misérable).

***** «прекрасную и величественную фигуру» (итал.).

и трубку, разрезал сапог, потом закурил и пролежал так до утра» (Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. Л., 1929, стр. 373).

Тата, взволнованная случившимся, писала Огареву тотчас после получения известия о несчастье от Герцена, 27 февраля 1868 г.:

«С ужасом мы прочли описание твоего несчастья, дорогой мой Ага. Но тон папашиного письма нас успокоил. Я была готова немедленно ехать к тебе, Ага, и теперь еще прошу тебя мне сейчас же написать словечко, если желаешь, чтобы я приехала за тобой ходить. Все восхищаются твоим спокойствием и хладнокровием — как тебя нашли сидящим преспокойно и курящим трубку! Но как ты, должно быть, страдал? Ужасно больно? Хотя, например, Мещерский себе прошлого года ногу сломал около колена и уверяет, что только в первый момент было ужасно больно — потом он пролежал шесть недель, не страдая.

Неужели холод не имел влияния на тебя, т. е. что ты даже не простудился? Ноге это могло быть только полезно, по словам Шиффа и Levier. А здесь сколько несчастий было последнее время! Карнавал был блистательный для Флоренции. Никогда ничего подобного не было здесь — так толпились, что многие попадали под кареты. Но все-таки все было глупо, *sans esprit, senza fugo, without wit, ohne Reiz* *.

Папаша, ты как будто нарочно для Кати напечатал статейку „*Moeurs russes*“ **. Бедная она, право; мне и жаль ее и гадко. Надобно с ней вместе прочесть эту статью.

Что же ты думаешь о моем приезде, т. е. о моей поездке к Огареву? Обнимаю вас и крепко, крепко целую, доброму верному пану жму руку. Ваша Тата Г.».

Упомянутый в письме А. А. Мещерский — близкий знакомый семьи Герцена; Левье — врач, хорошо знакомый Шиффов. Катя, о которой вспоминает Тата, — это уже упоминавшаяся выше Володимирова (см. стр. 454), которую Герцен называл «дряннойшей» (XX, 164), имея в виду нравственную распущенность этой «прекрасной татарки» (XX, 254), принадлежавшей к русской праздной аристократии. На мысль о Кате Тату навело чтение статьи Герцена «*Moeurs russes*», напечатанной в № 4 «*Ko-lokol*» (см. также включенные в «Былое и думы» очерки «Махровые цветы» и «Цветы Минервы»). Герцен опасался дурного влияния на Тату со стороны «аристократической камелии», но эти его опасения были неосновательны.

Через две недели, в письме от 11 марта 1868 г., Тата вновь вернулась к основным темам предыдущего письма:

«Мерси, добрый, дорогой мой Ага, за твою записочку. Меня утешает и успокаивает всего больше то, что ты можешь опять писать и вообще заниматься, я знаю, что для тебя работа. А о нашей жизни что тебе сказать? О катиней истории не стоит говорить, а когда-нибудь подробно расскажу папаше. Мне кажется, что я проснулась после долгого кошмара, который на настоящую нашу тихую жизнь никакого следа не оставил, несмотря на то, что папаша себе воображает.

Так, как я папаше уже писала, катин приезд имел влияние только на мой образ жизни. Меня почти никогда дома не было — я должна была ходить к ней, чтобы она не приходила к нам...».

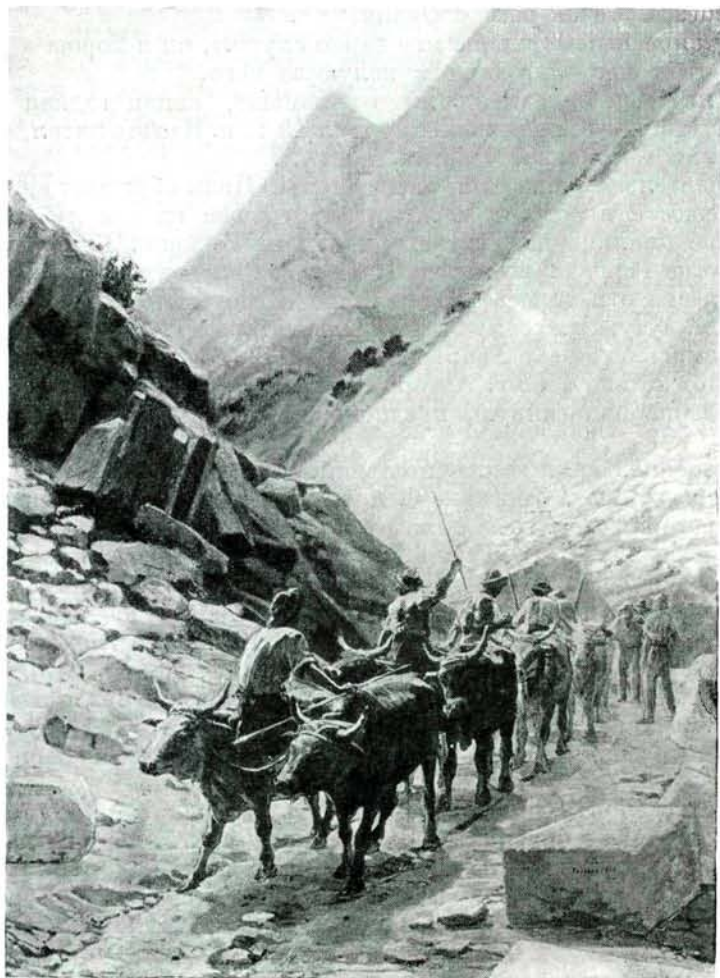
Следующее письмо датировано 28 мая:

«...Помнится, ты был когда-то в Пизе. Особенно мне понравилось местечко, верст пять-шесть от Пизы — Vecchiano. Брошенный, опустелый маленький монастырь на довольно высокой скале. Формация скал напоминает странные острые скалы около Монасо по дороге между Ниддей и Монако. С маленькой площадки великолепный, широкий вид на всю до-

* без блеска, без живости, не остроумно, лишено очарования (франц., итал., англ., нем.).

** «Русские нравы» (франц.).

липу, до Каррарских гор. Видна Пиза с своими игрушками: en face* море, острова вдали, Ливорно с своим маяком; а направо — всё поля, речки да озера Massaciuccoli у подножия первых холмов. Мы были там во время захождения солнца; буря приближалась, тучи собирались, в дали, на горах, уже шел дождик, цвета и все остегение сменялось ежеминутно —



КАРРАРСКАЯ КАМЕНОЛОМНЯ

Фотография с картины Н. Н. Ге; принадлежала Н. А. Герцен, на обороте помета ее рукой: «16 мая 1869 г. «Флоренция»

«Правская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

удивительно хорошо было! В сущности, это мне всего больше понравилось, хотя и *Гомбо* очень хорош; это большой лес, еловый и сосновый, на песчаной почве, так что на работу употребляют верблюдов — они свободно гуляют толпами, в лесу — это преоригинально. Лес доходит до берега моря. Песчаная полоса берега однообразна, зато линии гор и скал

* перед нами (франц.).

Каррарских и освещение всего этого вместе при закате солнца неописанно хорошо.

Ты, верно, жалеешь Petit Lancy, дорогой Ага? Или приятно себя чувствовать большим философом на *chemin des Petits Philosophes*? Папаша прислал нам твой адрес, Огарев, прибавляя: „Он переезжает на улицу *des Petits Philosophes* — *c'est un avantage pour la rue d'en avoir un grand et une modestie de la part d'Ogareff*“ **.

Твой прекрасный портмоне мне верно служит, он и хорош и удобен — словом, я тебя еще благодарю и целую за него.

Видел ли ты и показывал ли ты папаше, какая гадкая статья в „*Le Peuple Polonais*“, женевский журнал 15 мая. Кто это писал, Серно-Соловьевич или Счеснович? Против папы...».

В выразительном описании окрестностей Пизы обращает внимание не только свежесть и острота восприятия пейзажа глазом художника, но и очевидное влияние на Тату стиля самого Герцена. В переданной ею дальше путке Герцена по поводу переезда Огарева на новую квартиру во всем блеске отразилось герценовское остроумие.

На упомянутую в письме статью, напечатанную в женевском журнале польских эмигрантов «*Le Peuple Polonais*», Герцен откликнулся в письме к Огареву от 23 мая 1868 г. Автором статьи был Ченснович, фамилию которого, неверно написанную, предположительно назвала Тата в своем письме.

В выпущенной нами заключительной части письма Тата рассказывает о невесте своего брата Терезине Феличе и о подготовке к их свадьбе. Как известно, история женитьбы сына очень волновала Герцена, опасавшегося резкого неравенства культурного уровня и умственных интересов у молодых супругов. В «пражской коллекции» сохранилась тетрадь с воспоминаниями Таты о знакомстве Саши Герцена с дочерью ветошника, работницей Терезиной, и об их женитьбе («*Mariage d'Alexandre Herzen (fils) et Térésine Felice*» — ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 343).

В июне 1868 г. Герцен вызвал дочь из Флоренции, и она приехала в Женеву, а отсюда направилась в Берн, чтобы навестить М. К. Рейхель (Машу). Следующее письмо написано было Огареву из Берна 2 июля 1868 г.:

«...Мерси, добрый, дорогой мой Ага, за строки, которые ты мне еще в последнюю минуту прислал. Что ты меня все благодаришь за то, что я захала к тебе? Разве я это не из эгоизма сделала?»

Но берегись, милый Ага, выздоравливай, а я скоро опять к тебе прыскачу (все так же из эгоизма), а покамест обнимаю и крепко, крепко тебя целую.

Как бедная Маша обрадовалась, когда меня увидела; так расцеловала, что у меня шляпка слетела и я чуть-чуть сама не вывалилась из коляски...».

Это письмо устанавливает факт посещения Огарева Татой в июне 1868 г. В нем обращает внимание мотивировка посещения: «Разве я это не из эгоизма сделала?» Быть может, здесь следует видеть отголосок того этического принципа, который под именем «теории разумного эгоизма» был раскрыт в «Что делать?», а также в ряде философско-публицистических статей Чернышевского и Добролюбова. Воздействие этих идей могло затронуть и дочь Герцена.

В сентябре 1868 г. Герцен проходил курс лечения в Виши, куда его направили врачи, определившие у него диабет. Семья в это время прибыла в Лион, откуда Герцен предполагал выписать ее в Виши. Из Лиона Тата сообщала о полученном от отца 25 сентября 1868 г. письме:

* улица Маленьких философов (франц.).

** «Он переезжает на улицу Маленьких философов, для улицы удача — приобрести великого философа, а со стороны Огарева это скромность» (франц.).

«Милый, дорогой, добрый мой папа-Ага, как я рада, что ты себя чувствуешь так хорошо! Вот от папаши только что получили письмо — веселое и довольное, потому что лечение, повидимому, идет очень хорошо. Только ему скучно одному, он нас выписывает к себе в Vichy, несмотря на то, что мы ему писали и напоминали все *контры*. Я ему напомнила, что, может быть, он будет покойнее один; что здесь Лиза может ходить в школу; что в Vichy, по его собственным словам, ужасно дорого — однако сегодня он пишет, что нашел дешевый пансион.

Натали и Лиза наполнены хорошими намерениями, первая себе даже сшила *серое* платье, сегодня купит себе новую шляпу — все для диабета!

Пусть только выдержат при случаях поважнее! Для себя лично я ехать, конечно, очень рада. Здесь очень тихо; я не предвижу возможности с кем бы то ни было познакомиться; а иногда очень хочется побыть с молодежью, найти себе товарищей, иногда мечтаешь о том, как бы хорошо было иметь кружок знакомых, хороших, симпатичных друзей! Не думаю, чтобы было хорошо слишком уединенно жить, пока еще не устал жить вообще...».

Следующее письмо было начато 16 ноября 1868 г. в Каннах и отправлено 21 ноября из Ниццы. В начале его Тата пишет о сделанном ею портрете Лизы, оригинал которого она подарила Герцену, а копию — Огареву:

«Как я рада, милый Ага мой, что лизин портрет тебе нравится. Он меня не удовлетворял, я поэтому его прятала и не решалась тебе отдать. Ведь он долго конченный стоял у меня во Флоренции. Впрочем, я тогда не могла тебе его послать — мне ошибкой дали какую-то *мазь* клейкую, вместо простого масла, — я помню, что он несколько месяцев не мог высохнуть. Но в Château Prangins он был со мной, и я не решилась тебе дать. Оригинал у папаши — мне кажется, он лучше. Задача была трудная, Лизе не сиделось на месте...».

По поводу этой работы дочери Герцен писал 7 ноября Лизе: «Ага очень рад твоему портрету, поставил его у себя перед глазами» (XXI, 147). Огарев в своем очерке «С утра до ночи» (посвященном Тате) писал: «...Погляжу на портрет Лизы, сделанный Татой. Я долго останавливаюсь перед ним; он мне так напоминает два любимых существа, что мне не хочется отойти от него» («Литературная мысль», т. I, Пг., 1923, стр. 232—233).

Далее Тата пишет по поводу своих бесед с доктором Бернацким, с которым Герцен сблизился в Каннах еще в марте 1865 г.:

«Мы разговариваем много вместе, „философствуем“. Но он не совсем освободился, даром что причисляет себя к „позитивистам“ — у него еще какие-то неясные метафизические мысли».

Несомненно, термин «освободился» дочь Герцена усвоила от отца — имеется в виду «освобождение» от иллюзий идеалистической философии и от религиозных верований. В «Былом и думах» Герцен в этом смысле употребил то же выражение при описании кризиса мирозерцания у его жены: «Не в книге и книгой освободилась она, а ясновидением и жизнью» (XIII, 89). С нежностью вспоминает Тата в этом письме отца, свою жизнь с ним в Виши:

«...Очень хорошо было! и Лиза старалась быть мила — папашу не сердит. Ум ее сам развивается и растет не по дням, а по часам.

Я боялась отъезда из Виши — мне хотелось как можно дольше остаться в этом одиночестве. Я предчувствовала, что „юмбры“ * переменятся с переездом — так и случилось.

Чем кончатся начатые разговоры теперь? Какое странное, негармоническое и несчастное существо N^{atalie}! Она и Мальвида — единственные женщины в нашем интимном кружке — ни с одной, ни с другой я не

* настроения (франц. *humeur*).

могу быть близкой, я, которая так готова, так желала и желаю привязаться и любить, несмотря на то, что они меня называют холодной! Кто виноват? <...>

Я невольно все сравниваю ее с Мальвидой — и все удивляюсь сходству результата их действий и страшному их (по-моему) неверному взгляду на все и на всех окружающих. Обоих мучает ревнивость и самолюбие — вследствие чего они часто так несправедливы...».

В заключительной части того же письма Тата делится с Огаревым своими воспоминаниями о рождении ее младшей сестры Ольги:

«Сегодня день рождения Ольги. Я еще так ясно помню как восемнадцать лет тому назад я сидела поздно вечером у бабушки и играла с Колей; не хотелось нам ложиться, несмотря на то, что бабушка уже несколько раз повторяла: „Поздно, поздно, пора в постель“. Вдруг вбегает Рокка, берет нас за руку, говоря: „Пойдемте скорей, я вам покажу сестрицу!“. Она лежала у мамыши, такая крошка, смуглая, на голове у нее был красный фуляр. Что она теперь делает? Как бы мне хотелось быть с ней, вместе провести этот день, а потом, потом вернуться к папаше и к Лизе...».

В декабре 1868 г. Тата заболела в Ницце оспой. Ухаживали за ней Н. А. Тучкова-Огарева и старушка Рокка, вдова повара, служившего в семье Герцена еще при жизни Н. А. Герцен-матери. Герцен был очень встревожен болезнью дочери. В переписке с близкими ему людьми за декабрь 1868 — январь 1869 г. он постоянно возвращается к этой теме (XX, 241—243; см. также «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 425—426).

В «пражской коллекции» нашлось еще одно письмо Герцена к М. К. Рейхель, относящееся ко времени болезни Таты и написанное 6 декабря 1868 г. из Ниццы (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 261):

«Спешу уведомить вас, что Тате лучше — опасность миновала, но страдает она ужасно. У ней просто была оспа — лица ее и до сих пор узнать нельзя.

Глаза почти совсем закрыты, мучительное нарыванье прыщей, распространявшихся сверху до пяток, очень мучительно. Конечно, она не чешется, и я надеюсь, что следов не будет. Неужели же ей придется помереть? Нат<алья> Ал<ексеевна> и старушка Россса не отходят от нее. Лиза с англичанкой переведены на 5 этаж.

С вчерашнего дня поворот к подсыханию. Россса, берег, море — и Тата в постели без слов — она не могла говорить от прыщей во рту. Так и пахнуло 1852 годом.

Прощайте. Дней через пять напишу».

После выздоровления Тата писала Огареву из Ниццы 21 января 1869 г.:

«Ты знаешь, как глупо прошли эти последние два месяца, дорогой мой Ага. Как только я выздоровела, Natalie заболела, как только она была опять в состоянии свободно двигаться, Лиза должна была лечь. К счастью, у Лизы было все так слабо, что голова даже не болела и лихорадка была едва заметна.

Ходила за нами за всеми добрая наша старушка Рокка, да она так и осталась у нас, потому что все ее полюбили: нам она предана почти до сумасшествия. „M-r Erse (она папашу так называет)— M-r Erse est mon roi et mon Dieu“ * <...> ** как Рокка папашу обожал и всегда говорил, что подобного человека невозможно найти на свете. Притом она очень весела и ужасно смешна с своим постоянным „parlant par respect“ ***. Говорить о чулках и башмаках она считает неприличным, поэтому всегда

* Г-н Эрс — мой царь и бог (франц.).

** Рукопись повреждена. — Ред.

*** извините за выражение (франц.).

прибавляет свою любимую фразу: „Parlant par respect, je me suis acheté des bottines“ *. Милая старушка!

Ну, а жизнь наша все тиха и уединенна. Дом наш стоит в хорошеньком саду, а сад в невозможном переулке, по которому, я думаю, кареты раза два, три в год проезжают, вследствие чего монастырская тишина кругом <...>

Мне кажется, что N(atalie) спокойнее после болезни, со мной она очень хороша, да и папаше как-то терпеливее отвечает, хотя он очень раздражителен.



О. А. ГЕРЦЕН

Фотография, конец 1860-х гг.

Исторический музей, Москва

Вырубов недавно приехал на короткое время, вследствие чего является ежедневно к нам в два часа (на *véloциpède* **). Немедленно начинается какой-нибудь спор — и продолжается несколько часов; иногда мы все выходим гулять, солнце ложится, луна показывается, а споры все продолжаются!.. Так как это очень интересно, я присутствую...».

Затронутой здесь теме посещений Вырубова и влияния на Герцена споров с ним посвящено и следующее письмо из Ниццы от 13 февраля 1869 г.:

«...Как подвигается твой „День“? Я все жду с нетерпением, добрый мой Ага. — У нас все так же тихо. Карнавал прошел едва заметно. Раз мы взяли коляску и участвовали в „Corso“ — для Лизы, ей было весело, и цель этим достигнута. Хотелось бы, чтобы и взрослым было повеселее по временам — особенно папаше. Когда же это удастся устроить ему жизнь покойную и по его вкусу? Вряд ли наша слишком одинокая жизнь хороша для него. Я вижу, как его освежают, оживляют разговоры, споры и т. д. даже с Вырубовым. И как полезно было бы *молодым мозгам* присутство-

* «извините за выражение, я купила себе ботинки» (франц.).

** велосипед (франц.).

вать при таких разговорах, я знаю сама по себе; часто жалею, что я одна этим пользуюсь. Он всегда готов объяснять, растолковать, все, что ни спросишь, — но тем не менее, *il se laisse aller* *, когда нет посторонних; ужасно жаль мне видеть, как он себе портит жизнь, — самому себе и окружающим, — придавая важность безделицам и поддерживая себя, как будто бы нарочно, в неестественно-раздражительном расположении духа. По временам я себя спрашивала, не болезненное ли это явление, но сомневаюсь, скорее недостаток деятельности, рассеяния — право, не знаю. Хотелось бы что-нибудь устроить, и никак не придумаешь, да он сам едва ли знает, в каком углу земного шара ему хотелось бы поселиться и *как* жить...».

Все учащавшиеся приступы угнетенного душевного состояния Герцена чутко воспринимались Татой. Жизнерадостного по натуре Герцена омрачало в эти годы многое: падение популярности «Колокола», а затем и его прекращение, трудные отношения с «молодой эмиграцией», отсутствие ясных перспектив развития революционного движения в России и на Западе; немалую роль сыграли и запутанные отношения в семье, и начавшееся заболевание. Всей сложности этих причин Тата, конечно, не могла понять. Но она указала в своем письме на то, как оживляли Герцена споры «даже с Вырубовым» — черта, подмеченная очень верно.

«День», о котором спрашивает Тата в начале приведенного выше письма, это, очевидно, первоначальное название сочинения Огарева «С утра до ночи», посвященного Тате. В этом сочинении, опубликованном впервые С. Переселенковым в «Литературной мысли» (т. I, Пг., 1923), Огарев хотел «просто без всякой особенной формы — рассказать, что по большей части в продолжение дня думается, делается, говорится, встречается. Тут придется и серьезное, и шутки» (указ. изд., стр. 231). В очерк включено им несколько стихотворений, выражающих истинную любовь автора к Тате. С. Переселенков отнес эти стихотворения «к 1872 или к 1873 г., когда поэтический талант Огарева уже значительно потускнел» (там же, стр. 241). Из писем Таты, а также самого Огарева и Герцена явствует, что «С утра до ночи» следует датировать январем — февралем 1869 г.

21 января 1869 г. Огарев сообщал Герцену: «...Я с горя принялся писать мои мемуары для Таты» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 506); 6 февраля он вновь писал: «Пишу татину статью, бываю часто недоволен, но она меня увлекает так, что едва на что остальное хватает» (там же, стр. 514); о той же работе говорит он и 11 февраля: «Тате больше листа готово, но не могу решиться переписать и послать. Все мне кажется не то, чего хочется» (там же, стр. 517). В ближайшие дни работа все же была послана, и Тата тотчас же откликнулась на нее в своем письме от 16 февраля 1869 г.:

«Как ты видишь, письмо мое было написано до получения начала твоего „Дня“, за которое я тебя все-таки благодарю и целую; несмотря на замечания папаши, которые, мне кажется, справедливы, — но ты непременно пришли продолжение, милый Ага, и как можно скорее. И не бойся (как ты мне говорил в первом письме твоём об этом), что „Твой день“ не выйдет достаточно *забавным*. Ведь я *уж не ребенок*, чтобы искать только забавное, — меня серьезные вопросы даже больше интересуют и больше помогают не думать о маленьких ежедневных неприятностях, чем одно забавное. А право, меня ужасно мучает то, что *ничего* придумать не могу для папаши, да и для нас всех! И неужели вся жизнь пройдет в этом искании и придумывании?..».

Новая работа Огарева заинтересовала познакомившегося с нею в те же дни Герцена и возбудила у него мысль о ее напечатании в России.

* он поддается своему настроению (франц.).

20 февраля он писал Огареву: «Не хочешь ли твою эпистолу к Тате — в „Неделю“? стоит выдумать псевдоним» (XXI, 298).

Прожив с отцом в Ницце до 24 апреля (см. XXI, 368), Тата вернулась в Италию. В письме от 20 июля из Ливорно она вновь делится с Огаревым своими опасениями насчет отца:

«...Что ты мне пишешь о папаше, о его раздражительности, меня очень, очень огорчает. — Помнишь, что я тебе писала из Ниццы, как меня огорчала его вспыльчивость, доходящая до какого-то болезненного отчаяния

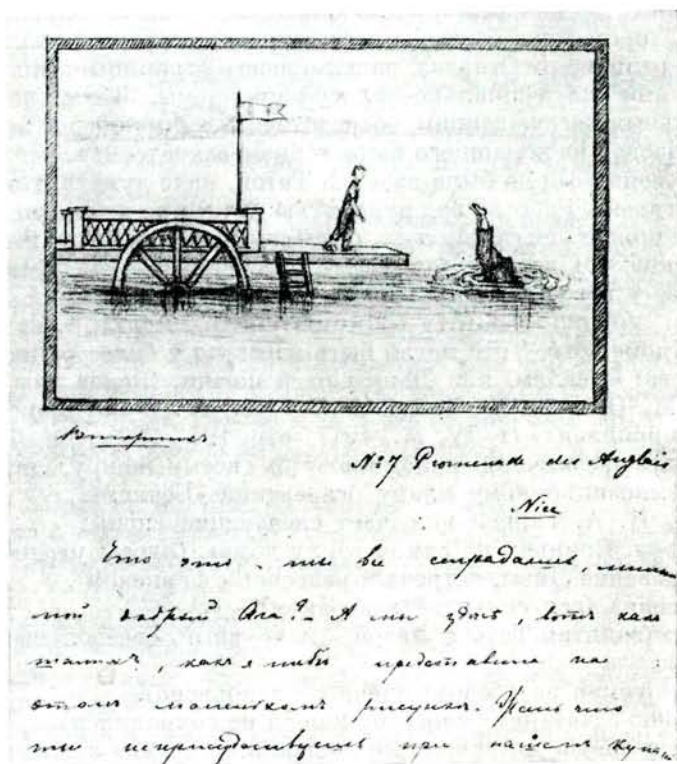


РИСУНОК Н. А. ГЕРЦЕН В ПИСЬМЕ К ОГАРЕВУ ИЗ НИЦЦЫ, 1868 г.

Н. А. Герцен изобразила себя и Лизу.

«А мы здесь вот как шалим, как я тебе представила на этом маленьком рисунке... Лиза плавает как рыбка, а я всех лучше плаваю, прыгаю, кувыркаюсь и ныряю...» (Из письма Н. А. Герцен)

Центральный архив литературы и искусства, Москва

für nichts und wieder nichts *? Нет, добрый Ага, никогда не устроится общая жизнь, я в этом убеждена...».

Несколькими годами позднее, как бы подводя итог своим заботам о близких, своему служению семье, Тата писала Н. А. Тучковой-Огаревой 28 сентября 1873 г.: «Совесть моя чиста; все, что я могла делать, чтобы уменьшать дисгармонию атмосферы, в которой были окружающие, я всегда делала — где бы я ни была — в Италии или во Франции, в Швейцарии или в Англии» («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых». М., 1930, стр. 94). Озабоченность Таты все более растущей напряженностью семейных отношений в доме ее отца нашла свое выражение не только в ее письмах к Огареву.

* из-за совершеннейших пустяков (нем.).

В «пражской коллекции» сохранилась рукопись, написанная рукой Н. А. Герцен. На заглавном листе обозначено: «Фотографии (с оригинала). В память о Villa Filippi, Ruelle Meslanzone, Rue de France, Nice. 6-го апреля 1869 года после Р. Х.» Рукопись представляет собою ряд изложенных в драматизированной форме сцен, рисующих день в доме Герцена.

Замысел этого произведения, отмеченного печатью несомненного литературного таланта, мог возникнуть у Н. А. Герцен под влиянием посвященных ей Огаревым набросков «День», которые он посылал ей в феврале 1869 г. Чтение этих набросков могло подсказать Тате мысль написать свой «День», в котором тоже была бы зафиксирована жизнь семьи «с утра до ночи». Но в отличие от Огарева, заполнившего страницы своих набросков размышлениями на социально-философские темы, Тата, не склонная к умозрительным рассуждениям, сосредоточила внимание на живых, конкретных эпизодах из домашнего быта герценовской семьи.

Драматическая форма была избрана Татой, надо думать, тоже под воздействием Огарева. Работая над рукописью «С утра до ночи», он одно время предполагал придать ей форму сцен, о чем сам писал в начале второй главы этих набросков: «Я даже хотел моему рассказу придать драматическую форму. Такое у него и заглавие водеvilное. Но испугался. С драматической формой трудно сладить» («Литературная мысль», т. I. Пг., 1923, стр. 231). Кроме того, Тате могло быть известно и более раннее произведение Огарева: «Бедлам, или День нашей жизни. (Эскиз для комедии)», отнесенное М. О. Гершензоном к 1857—1858 гг. и опубликованное им в «Русских прописях» (т. IV, М., 1917, стр. 194—200). Ее «Фотографии (с оригинала)» чрезвычайно напоминают по своему жанру, литературной манере и композиционному плану огаревский «Бедлам».

Рукопись Н. А. Герцен включает следующие сцены:

1. «До кофе. Спальня на самом верху дома». (Здесь: утреннее вставание Таты, одевание Лизы, встреча и разговор с Герценом).

2. «Столовая» (вся семья за завтраком).

3. «Урок» (занятия Таты с Лизой; капризный, своевольный характер Лизы).

4. «Обед» (семья за обедом; сцена не закончена).

5. «Разговор с Natalie» (конец рукописи не сохранился).

Непосредственный материал для биографии Герцена заключают в себе два отрывка, печатаемые ниже. В первом из них (часть сцены первой) речь идет о повести Герцена «Доктор, умирающие и мертвые», над которой он работал в марте 1869 г. Père Amarante (по-французски — бессмертник) — выведенный в повести католический священник-иезуит, который пытается инсценировать у постели умирающего старика Ральера, якобинца и атеиста, его возвращение в лоно церкви, а когда это ему не удается, произносит над телом старого якобинца исполненную лицемерия речь о якобы состоявшемся раскаянии его. Воспроизведенное в отрывке восклицание Герцена: «Побесить французов поганных...» — напоминает оценку повести в письме Герцена к Огареву от 24 марта 1869 г.: «Это — французам орешек с горьким миндалем» (XXI, 333).

Второй отрывок (сцена вторая, дается с незначительными сокращениями) выразительно рисует живой облик Герцена: его нервность и вспыльчивость, вызываемую строптивостью Лизы и самоуничтожением Natalie, и, вместе с тем, его пылкое негодование при чтении газетных известий о положении дел во Франции. Здесь же звучат отголоски тех споров с Вырубовым, о которых упоминалось в приведенных выше письмах Таты.

Оба отрывка печатаются по автографу «пражской коллекции» (ЦГАИИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 342, лл. 1—19).

ФОТОГРАФИИ (С ОРИГИНАЛА)

<1>

До кофе. Спальня на самом верху дома.

Тата и Бабетта кончают постель Natalie и, прыгая по лестнице, отправляются в спальню Герцена-Искандера... Он сидит за большим письменным столом в вязаной куртке-фуфайке couleur café au lait... * Всклокоченные волосы показывают, что он туалетом еще не занимался.

Тата (обнимая и целуя его). Здравствуй, папаша. (Шутливо.) Как изволили почивать?

Искандер. Ничего... здравствуй. А ты все раньше и раньше... (Смотрит на часы.) Хорошо... Хорошо...

Тата (смотрит в книгу через плечо Искандера). Ты, Vater unser **, все еще над «Доктором» своим работаешь? (Начинает делать постель с Бабеттой.)

Искандер. Да... Да... (Крутит конец бороды и кусает ее.) Это вышло очень удачно... вот увидишь... Я вам потом прочту... (Улыбается самодовольно.) Речь этого père Amarante — ха-ха-ха — имя-то какое! père Am-marante! Прелесть!! Это следовало бы теперь же перевести... Побесит французов поганных... да и Вырубова кстати...

B a b e t t e. Oh! Oh!... voilà quelque soze qui a sauté...

Тата. Qu'est-ce qu'il y a? — Ah, non, ce sont de graines de tabac!

B a b e t t e. M-me Rocca, il m'a dit comme cela, qu'il aimerait beaucoup voir une puce dans le mic... mic... (конфузится и краснеет)... dans la machine en bas...

Тата. Dans le microscope — dites: mi-cros-cope... (Babette еще более конфузится и не повторяет.) Avec grand plaisir je lui montrerai à elle et à vous ***. (Оборачиваясь к Искандеру.) Она помешала тебе — ты хотел сказать...

Искандер. Ничего, ничего, а... потом дам кое-что переписать... (Слышно пение и шаги в саду.) А вот и почта...

Тата медленно кончает постель, чтобы дожидаться старушки Рокки, которая должна принести письма. Старушка входит с журналом «Temps» в руках.

М-м е Р о к к а. Bonjour M-r et M-elle... ah! (Указывает на постель.) Je vous attrape, méchante! (Грозит пальцем.) Non, vraiment, vous êtes trop bonne...

Тата (передавая журнал Искандеру). Rien que le journal? — Вот тебе на! — Bonjour, m-me Rocca, vous n'avez pas à me grondez — les lits me regardent — allez tricoter... **** (Нежно берет ее за плечи, поворачивает и шутя выводит ее в салон.)

Искандер (рвет обертку и раскрывает газету). Нельзя сказать, чтобы наша корреспонденция шла живо... Огарев, как на смех, не пишет — знает, что я с нетерпением жду ответа... Проклятая небрежность...

Тата. Да из Флоренции давно нет ничего. Maintenant mon lit à moi, Babette, venez *****.

Уходят.

* цвета кофе с молоком (франц.).

** Отче наш (нем.).

*** Бабетта. О, о! вот сто-то прыгнуло... — Тата. Что там такое? Ах, это табачные зернышки! — Бабетта. Г-жа Рокка мне сказала, что ей очень хотелось бы видеть блоху в мик... мик... — в машине, которая внизу. — Тата. В микроскопе — скажите: в ми-кро-скопе... с большим удовольствием покажу и ей, и вам (франц.).

**** Добрый день, сударь и м-ль... ах! Я вас поймала, негодница... Нет, вы действительно слишком добры... Тата. Только газета?... Здравствуйте, г-жа Рокка, не нужно на меня ворчать, постели — это уж мое дело, идите себе вязать... (франц.)

***** Теперь за мою постель, Бабетта, пойдем! (франц.).

<2>

Столовая

Искандер наливает себе кофе, Natalie режет хлеб стоя. Лиза громко разговаривает с собакой сквозь стекло. Тата целует Искандера и Natalie, потом подходит к Лизе.

Т а т а. Здравствуйте.

Л и з а (*подавая щечку*). Я тебя уже видела.

Т а т а. Ну, ничего — что же из этого? C'est le bonjour de la salle à manger... *

Natalie зацепляет мантилией ложку. [Искандер вдруг морщится]. Тата трет руки от холода. Лиза начинает петь во все горло... Несчастный Искандер морщится, хмурится, машет руками по воздуху — точно крыльями... и говорит отчаянным голосом:

И с к а н д е р. Ну-у... у-успокойтесь... успокойтесь... пощадите... да... я стар...

Т а т а. Не хмурься, папаса... Как холодно!!!

Лиза садится за стол в шляпке и продолжает петь.

Т а т а (*про себя*). Неужели она не остановится? Хоть бы шляпку сняла... Я бы напомнила, но боюсь — пожалуй, дерзко ответит... Папа услышит. Попробую шопотом сказать... (*Шепчет Лизе*.) Не пой, Лиза, сними шляпку прежде, чем тебе скажут...

Лиза смотрит на нее круглыми глазами, подергивает плечами и продолжает петь, не снимая шляпки...

Вот мне еще урок — никогда не буду ничего говорить... Natalie ничего не видит... и больно, и досадно — а что же я могу сделать?

Г е р ц е н. Поо-оггганный климат... Не-ет (*грозит пальцем*), вот вы увидите...

Natalie. Лиза, перестань петь — ничего не слышу — и шляпу сними.

И с к а н д е р. Успокойтесь... успокойтесь (*машет руками*)... Нет, жить можно только на севере. Эти зимы на юге — это все предрассудок...

Natalie. Поедем в Россию... Сатины...

И с к а н д е р (*пристально глядя на Natalie*). Что? Это намеки или шутка?

Natalie. Шутка... шутка... Конечно, ты прав, здесь и топить нельзя.

И с к а н д е р. Нет, я вам предсказываю (*стучит пальцем по столу*), будьте уверены, что мы прошлого года видели самый блестящий сезон в Ницце. Нынче даже костюмы хуже на Promenade des Anglais — всё бедно, пошло. Увидят дураки...

Л и з а (*перебивая его нетерпеливым голосом*). Mais donnez-moi donc du café, maman **.

Natalie. С каким ты голосом это говоришь?

Л и з а. Да когда мне ничего не дают...

И с к а н д е р (*морщится; руки, державшие газету, с отчаянием спускаются на колени*). Нет, Лиза, если ты меня хоть сколько-нибудь любишь, так сиди смиренно за столом... Ты очень хорошо знаешь, что тебе все дадут — проси просто, учтиво (*выходя из терпения*) и не делай таких дерзких круглых глаз... Сними шляпу...

Л и з а (*сквозь зубы*). Vieux ty-rrran... ***

И с к а н д е р. Приходишь — хочется поговорить — потолковать — тихо — нет, непременно все испортить. (*Комкает газету с досады. Сидит упрямо... Лизе совестно под конец, она снимает шляпу — и вдруг решает поправить дело.*)

* Это приветствие в столовой (франц.).

** Дайте же мне кофе, мама (франц.).

*** Старый ти-ррран (франц.).



ВИДЫ НИЦЦЫ НА ПОЧТОВОЙ БУМАГЕ ПИСЕМ Н. А. ГЕРЦЕН
К ОГАРЕВУ ОТ 21 ЯНВАРЯ И 19 ФЕВРАЛЯ 1869 г.

Пояснительные надписи принадлежат Н. А. Герцен

«Правская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Л и з а. Ну — нет, дядя, мой милый... ты любезный человек, дядя... Давай говорить об интересных вещах... вот...

И с к а н д е р. Ты знаешь, что я всегда готов с тобой разговаривать... объяснять тебе... но твоя дерзость...

Л и з а (*встает, подходит к Искандеру, гладит его по бороде и по щекам*). Дядиша мой милый. (*Целует его и собирает остатки мякиша*.) Ты позволяешь — для кошки?

И с к а н д е р. Бери, бери, а впредь будь осторожнее.

Л и з а. Мерси, любезный! [*Я иду к кошке*]

Т а т а (*про себя*). Как она может быть мила, когда хочет; дерзость, избалованный характер — единственный ее недостаток, но это все портит. Ничем ее не остановишь, а сама она останавливается только тогда, когда довела до отчаяния. Ксевна, передай мне масло, пожалуйста.

N a t a l i e. Вот тебе, Ксандровна. И «devonshire cream» * тебе дам. Чудо — такие густые сегодня — посмотри... (*Накладывает Лизе.*)

Т а т а (*смотрит украдкой на Искандера, думая: «Повторится сегодня история сливок или нет? — Если повторится — непременно запишу...»*). — Подает тарелку Natalie, улыбаясь; полушопотом). Бу-у-дет, будет, Natalie, merci...

Л и з а (*кричит, вставая*). Ма-а-ма, ты себя обижаешь, ты нам слишком много сливок дала — себе ничего не оставила!

И с к а н д е р (*вдруг опять опускает руки, державшие журнал, который его почти всего закрывал. С выражением отчаяния — пожиманием плеч и голосом, переходящим вдруг с дишканта в низкий бас. Басом*). Natalie, пощади меня! (*В один дух, немножко крикливым дишкантом*.) Неужели это тебе доставляет удовольствие меня мучить... в таких мелочах...

N a t a l i e (*с упреком*). Ну помилуй, c'est ridicule** возьму, возьму — смешно, из-за сливок...

Герцен берет блюдечко со сливками, — их в одну руку, другая остается на воздухе с ложкой.

И с к а н д е р. Да не в том дело... Господи боже мой! Да, может быть, это в самом деле старость... Нервы слабеют... Ненавижу я это самоотвержение — сливки для всех — бери и ты просто, как другие (*дишкантом*), и неужели этой безде...

N a t a l i e. Будет, Герцен, право, и без того голова трещит... Только сам не клади (*быстро*), нет, пожалуйста, дай мне блюдечко... (*закрывая чашку руками*) — на тарелку — не люблю я в чашке — кофе испортишь.

Но тут Искандеру, ждавшему хорошей оказии, удалось полную ложку сливок вылить в чашку Natalie. Тата и Лиза кричат: «Браво!» Герцен, самодовольно улыбаясь, тяжело падает назад в кресло и, похлебнувши кофе, продолжает чтение журнала.

Т а т а. Как это им обоим не надоеет! — И больно и смешно... Что же ты ничего не рассказываешь, папаша?

И с к а н д е р. Пустые газеты. (*После паузы.*) Скаттина этот Emile Girardin. — Нет, с каждым днем я Францию больше и больше ненавижу. Толкуй себе Вырубов что хочет — вздор — один только человек и есть у них, который что-нибудь да понимает, — зато мошенник.

N a t a l i e (*встает и ставит сахарник в шкаф*). Да в чем дело?

И с к а н д е р (*махая руками*). Успокойтесь — успокойтесь — не бегайте — некуда спешить... В двух словах не расскажешь — все по поводу железной дороги в Бельгии — возьмите потом, сами прочтите... Об Lamartine длинный панегирик — дураки и подлецы они все... (*Ком-*

* «девонширские сливки» (англ.).

** это смешно (франц.).

кает салфетку, как будто делая снежный мячик, бросает ее на стол и подходит к окну. Стоит фертм.)

Тата складывает работу, Лиза собирает остатки хлеба и надевает шляпку, Natalie сидит на софе и выпивает <...> Мимо окон проходит старый садовник, сгорбленный, в теплом вязаном остром колпаке — везет тележку с мокрым бельем.

И с к а н д е р. Вот Иван Алексеевич хозяйством своим занимается.

Т а т а (*подходит к отцу*). Да — издали есть сходство — но вблизи у этого выражение лица гораздо добрее, чем у Ивана Алексеевича, судя по портретам.

Молчание.

И с к а н д е р (*отворяя дверь*). Пойду... попробую поработать...

Все расходятся.

Герцен оценил в своей старшей дочери ее талант художника. Он отметил и ее литературный дар, прежде всего в том жанре, в котором написаны и «Фотографии с оригиналов»: «У тебя есть решительный талант именно к этим *genre-bilder'am*» * (XVIII, 75).

В «пражской коллекции» хранится несколько литературных работ Н. А. Герцен: 1) «*Mariage de mon frère Alexandre*» **, 2) история брака ее любимого племянника Николая, прозванного в семье «*Le Russe*», 3) рассказ о последней встрече с Н. А. Тучковой-Огаревой, написанный в форме письма к Г. Шиффу. Приведенные ниже ее воспоминания о встречах с С. Г. Нечаевым дают также ясное представление о несомненном литературном даровании Н. А. Герцен.

В последующие месяцы в жизни Таты разыгрались события, имевшие крайне тяжкие последствия как для нее, так и для Герцена. Еще в 1867 г. Герцен и его семья познакомились во Флоренции со слепым музыкантом из Сицилии, Пенизи. О первом впечатлении от него Герцен писал Огареву 6 февраля 1867 г.: «...он компонист, играет превосходно на фортепиано и поет. Говорит, сверх своего языка, совсем свободно по-французски, по-немецки, по-английски; пипет (т. е. диктует) стихи и статьи, знает всё на свете: естественные науки, историю и пр. Я еще такого чуда не видывал. Его водит человек по улицам; очень красиво одет...» (XIX, 204)

Осенью 1869 г. Пенизи признался Тате в любви и встретил отказ, после чего он заболел нервным расстройством. Врач, его лечивший, просил Тату разрешить Пенизи попрежнему встречаться с ней. Герцен требовал немедленного прекращения знакомства с Пенизи. Из чувства жалости Тата не решалась на резкий разрыв. Она писала об этом Огареву из Флоренции 6 октября 1869 г.:

«...При виде его страданий, при мысли последствий у меня просто кружилась голова — у меня нехватало энергии действовать решительно, я чувствовала, что слишком уступаю, и, наконец, написала папаше, чтоб он мне помог. Он понял, что я решилась на то, что меня, в сущности, пугает, когда я в состоянии спокойно обдумать. Что это за характер! бедный, несчастный человек! По-моему, надо мало-помалу кончить это письменно, а не сразу, как желает папаша, — не надобно забывать, что он *больной*, что надобно поступать осторожно. Уговори папашу...».

Однако Пенизи продолжал преследовать Тату своими притязаниями, угрозами самоубийства, угрозой убить ее брата. Она не вынесла всех волнений и тревог, связанных с этим. 29 октября Герцен, находившийся в Париже, получил от сына из Флоренции телеграмму о тяжелом нервном заболевании Таты. Герцен увез ее на берег моря, в Специю, где

* жанровым сценам (франц., нем.).

** «Женитьба моего брата Александра» (франц.).

«тишина монастыря, и море, и горы» (XXI, 528). Здоровье больной быстро восстанавливалось. «...Мы <Герцен и Н. А. Тучкова-Огарева> ее отходили и отласкивали от черной болезни», — писал Герцен 22 ноября 1869 г. (XXI, 527).

3 декабря Герцен писал И. С. Тургеневу, отмечая симптомы ее выздоровления: «Она еще не совсем пришла в нормальное положение, но страхи прошли, и возвратился кроткий и по временам светлый взгляд. Зато с воспоминанием развилась грусть, мрачное расположение и желание удалиться ото всех, чего допустить нельзя... Помнит она все подробности худшего времени болезни (<...>), мысль совершенно светла». Далее Герцен сообщает: «Огар<еву>, которого она беспрестанно любит, и Саше она писала несколько писем» (XXI, 532).

В «пражской коллекции» сохранилось лишь одно ее письмо к Огареву (из Ниццы), написанное в период выздоровления. Его не мог иметь в виду Герцен, когда он писал И. С. Тургеневу, так как оно датировано 7 декабря:

«Вчера был день твоего рождения, милый, дорогой мой Ага, я думала о тебе, хотела тебе писать, но не удалось, голова моя не вела себя хорошо. Ты себе представить не можешь, какая у меня путаница иногда в мозгу. Я вижу, понимаю, что жизнь так коротка, надобно бы каждой минутой пользоваться, надобно бы что-нибудь да делать для других, хоть для близких, а все что-то мешает — что мешает? А должно быть то, что я все играю, все думаю (это вроде *jeu de patience* *), припоминаю все, что слышала, что читала, ваши споры, споры у Шиффов и т. д. Мне это так трудно, все разбросано, многое перепутано. Я хочу привести все в порядок, ищу заключения. Это своего рода сумасшествие, я это вижу после болезни. Представь себе, что я сама себя потеряла; я искала себя во всех веках и столетиях, во всех элементах; словом, я была всем на свете, начиная с газов и эфира, я была огонь, вода, свет, гранит, хаос, всевозможные религии. Я мало знаю фактов исторических, но все-таки же я видела многое и страшно живо. Это было очень интересно, и я не жалею, что была больна; по минутам я очень страдала — сперва за других; всех мучили, а потом принялись за меня; сколько раз меня убивали, не перечесть! — и гильотинировали, и вешали, и расстреливали, и на кусочки разрезывали, и отравляли. Я все чувствовала; вот что значит воображение — больное. Я принимала себя за *персонификацию* всех явлений — электричества, фосфоресценции, отопии, гармонии, глупости, всего хорошего и дурного и выходило: *pot-pourri* ** и *мокрая курица*. «*Je suis l'univers personnifié!*» *** — вот было заключение. И в самом деле, каждый человек ведь представляет маленький мир и понимает мир по-своему. По минутам я все слышала: «*Nichts ist drinnen, nichts ist draussen, denn was innen, das ist aussen!*» **** И все становилось темно; я думала, что пришел конец миру, все исчезло! — земной шар и солнечная система, со всей историей. А далеко, далеко была звездочка — начинался новый мир, я хотела всех спасти; всех взять туда с собой. — Но всего не перескажешь — потом я не хочу больше об этом думать. Прощай, обнимаю и крепко, крепко тебя целую и люблю».

Это выразительный документ, прекрасно характеризующий самое Тату. В нем отразились ее заветные думы, сокровенные мечты. Ярко выражено в нем сознание ответственности перед жизнью, обязанность не

* игры в пасьянс (франц.).

** попури (франц.).

*** «Я персонифицированная вселенная!» (франц.).

**** Что внутри — во внешнем сыщешь; что во вне — внутри отыщешь! (Из стихотворения Гёте «*Erithema*» («Присказка». Пер. В. Вильяма-Вильмонта).

убивать время, а творить свою жизнь, пользоваться каждой минутой для решения великой задачи, стоящей перед каждым сознательно живущим человеком, сознание, столь свойственное и Герцену, и Огареву. Тата писала: «...Надобно бы что-нибудь да делать для других, хоть для близких...», — в этих словах выражена мысль: жить нужно не только для близких, но и для дальних, а если ничего не удастся сделать для посторонних, то «хоть для близких».

В заболевшей Тате пробудились воспоминания из былого, нашли отзвук и те споры, «полезные молодым мозгам», которые вели в ее присутствии Герцен, брат Саша, Шифф, Вырубов. В ее сознании прошли картины из истории человечества. Перенесенная болезнь, несмотря на все страдания, оценивалась ею как нечто для нее нужное. Какая жажда богатства душевного опыта! Но особенно характерно для нее, что она «очень страдала — сперва за других; всех мучили, а потом принялись за меня». Подлинной любовью к людям, благородной заботой о них насыщена эта исповедь больной Таты.

При такого рода заболеваниях, так называемых истерических реактивных психозах, не искажается существо человека, а раскрывается во всей своей глубине. В них проявляются основы, заложенные в человеке его социальной средой, воспитанием, жизненным опытом, быть может и наследственностью. Вот почему в этом письме так вскрылась духовная связь Таты с ее отцом, конечно не в болезненных проявлениях ее недуга, а в том глубоком философском содержании, которым насыщено это письмо, в живом чувстве бесконечности жизни, в связи концов и начал. Приведенные Татой строчки из стихотворения Гёте Герцен цитировал в «Дилетантизме в науке». Поясняя эти строки, он писал: «...внешнее есть обнаруженное внутреннее и внутреннее потому внутреннее, что имеет свое внешнее» (III, 172). Этим определяется органическое, а не механическое единство мира. Далее, слова: «И в самом деле, каждый человек ведь представляет маленький мир и понимает мир по-своему» — заставляют вспомнить цитату из Гейне, приведенную Герценом в «Записках одного молодого человека»: «Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает» (Полн. собр. соч., т. 1. М., изд. АН СССР, 1954, стр. 258).

Огарев, судя по последующему письму Таты, видимо, не все понял в этом письме-исповеди. В добавление к нему Тата писала уже из Парижа 22 декабря 1869 г.:

«Ты говоришь, что многое неясно в моем письме из Ниццы. Очень может быть, милый, дорогой мой Ага. Я сама знаю, что еще легко путаюсь и незаметно перемешиваю быль со снами, особенно когда делаю усилие, чтобы припомнить яснее, что одно и что другое.

Но теперь я чувствую себя очень хорошо, странно только, что у меня осталась какая-то плаксивость невольная, которую никак не могу еще переломить <...> Мне так досадно, особенно для папаши, он как будто не верит, что я не могу удержаться. Мне больно его огорчать, и я не знаю, что делать.

Теперь мне хотелось бы сесть в уголочек и перечитать некоторых классиков. Я не имею ясного понятия ни о какой литературе. Все у меня кусочки отдельные в голове, потому что и развитие шло странными прыжками, то вправо, то влево...».

Таким образом, забота об отце не покидала Тату даже в эти тяжелые месяцы.

В связи с болезнью Таты И. С. Тургенев писал Герцену 25 ноября 1869 г.: «Образ ее остался в моей памяти таким светлым и прекрасным, что я не могу верить, чтобы облако, набежавшее на него, не рассеялось тотчас и навсегда» («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену». Женева, 1892, стр. 205).

III

1870 г.

ПОСЛЕДНЯЯ БОЛЕЗНЬ ГЕРЦЕНА. — СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ

В дни предсмертной болезни Герцена Тата была с ним и почти каждый день (а иногда и два раза в день) писала из Парижа Огареву, рассказывая о ходе болезни, о самочувствии больного, о надеждах на его выздоровление. Ввиду особой ценности этих писем для биографии Герцена они публикуются полностью.

В начале болезни дочь Герцена была далека от мысли об опасности. Как диагноз врачей, так и самочувствие больного поддерживали ее уверенность в благополучном исходе.

«Только что был доктор, дорогой мой Ага, — писала Тата Огареву 17 января 1870 г., — он доволен, пульс и лихорадка слабее; сам папаша покоен. Доктор Шарко позволил уже кофе и чай сегодня.

Не беспокойся, милый Ага, если я мало пишу и скверно. У меня голова немножко тяжела и надобно помогать Natalie. Все знакомые и друзья показывают большое участие, все предлагают помогать. Вырубов только что отправился в аштеку, Тургенев приходит ежедневно; он совсем побелел, это ему очень к лицу. На вид он очень здоров и весел.

После вечернего визита доктора я напишу Тхоржевскому. Обнимаю и целую тебя.

Твоя Т а т а Г.

Погода превосходная. — Все остальные здоровы.

Следующее письмо — ответ на «записочку» Огарева, то есть на его письмо к Герцену от 15 января 1870 г., в котором он писал о необходимости в ближайшее время приготовить 5 тысяч франков для оплаты ряда расходов, связанных с проектами возобновления «Колокола» или «Полярной звезды» (см. «Лит. наследство», т. 39-40, 1941, стр. 573).

«Мы получили твою записочку к папаше, — писала Тата 18 января 1870 г., — но должны были прочесть ее, не показывая ему; ты теперь знаешь, что его никак нельзя тревожить. Ты просишь, чтобы он непременно исполнил твою просьбу. Как с этим быть? Знаешь ли ты, Ага, что он в последнее время ужасно много истратил. Путешествие в Италию обошлось гораздо дороже, нежели он думал; в Лионе он должен был занять у Тхоржевского. Наконец, жизнь здесь, в Париже, так безумно дорога, что я не понимаю, как папа мог думать о поселении здесь на несколько лет. С папиными привычками и с его доходом жизнь в Париже невозможна. Я ему все это предсказала; он не верил, называл меня скупой, а в последнее время сам увидел, что я была права. Теперь мы платим счета и мелочи деньгами, которые остались у него в портмоне; мы никогда не вмешивались в его денежные дела, поэтому никак не знаю, что делать, как отвечать на твою просьбу.

Ночью папа спал не очень хорошо, *везикатуар* * его раздражал. Он начинает капризничать; может быть, это хороший знак. Ему все есть хочется, а Шарко запретил, бульон ему надоел. Вообще доктор доволен.

Обнимаю и целую тебя.

Твоя Т а т а Г.

* шпанская мушка (франц.).

Петербург 18-го января 1870.

140

Копеек. —

Ваше письмо находится в том же состоянии
значительно уменьшилось. — Офиса и
снова продолжаться. Вит, Тамара,
возвращаются только для.

Умра и Д. и Желто — возм
умра и Д. и Желто — возм
умра и Д. и Желто — возм

Проще

Письма от последнего писателя,
то самый первый кофе, тиган, и
интересного воду — или булочки. —

Письму историческим дорогом мой
Ага — и нашим маме покорный
и вынимаю — что такое здоровье.

Александр — что была у нас Гидия
Миха. Michel. — у ней было моралист
она до сих пор несовсем оправилась.
В рада Пурисина, который был и
да он был в России, так хорошо

ПОСЛЕДНИЙ АВТОГРАФ ГЕРЦЕНА: СТРОКИ, ОБРАЩЕННЫЕ К ОГАРЕВУ,
ВПИСАННЫЕ В ПИСЬМО К НЕМУ Н. А. ГЕРЦЕН ОТ 18 ЯНВАРЯ 1870 г.

«Пражская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Вероятно, в одно время с этим письмом Таты было написано и письмо Н. А. Тучковой-Огаревой, также сохранившееся в «пражской коллекции» (ЦГАЛИ, ф. 5770, оп. 1, ед. хр. 195). Приводим его текст (письмо без даты):

«Огарев, я не знаю, что делать,— болезнь очень серьезная — лишь бы она прошла — как же быть с твоим требованием? Я ничего не знаю о делах Герцена. Твою первую записку он читал уже больной и сказал: „Я не могу дать таких денег“. С тех пор мы не давали ему писем, потому что ему нужен абсолютный покой. Я не раскрывала его портфеля и решительно не знаю, что у нас есть в доме,— за квартиру и пищу заплачу, когда Герцен будет здоров, а на мелкие траты беру у всех деньги на туалет. Что же мне делать?

Пиши Тате или мне. Право, мы так измучены и испуганы, что ни об каких делах не думается,— боимся только забыть какое-нибудь приказание Шарко, но пока он очень доволен уходом. Вырубов более всех принимает участие и помогает. Главное — тишина и покой. Мечников был у нас, но Шарко не позволяет Герцену никого видеть, но я рассказала ему подробно и просила передать тебе. Тата пока помогает, но боюсь за нее — она одна из детей понимает серьезно болезнь. Но ты не пугайся, Шарко доволен ходом болезни, воспаление не распространяется».

К вечеру того же дня в состоянии больного наметилось некоторое улучшение, и Тата торопится успокоить этим известием Огарева. Это письмо сохранило для нас *последний автограф* Герцена — три строки, вписанные слабеющей рукой, крупными буквами, карандашом и обращенные к тому, кто всю жизнь был его верным другом и преданным соратником.

Н. А. Тучкова-Огарева в своих воспоминаниях о болезни и смерти Герцена, опубликованных Т. П. Пассек в «Русской старине», писала: «Жар и бред все увеличивались; однако он каждый день писал карандашом несколько слов к Огареву» («Русская старина», 1887, № 10, стр. 162.— В отдельное издание «Из дальних лет» этот текст не вошел).

18 января 1870 г. Н. А. Герцен сообщала:

«Доктор находит, что лихорадка значительно уменьшилась. Жажда и голод продолжают. — Есть папаше позволено только gelée*.

Рукой Герцена, карандашом:

Умора да и только — кажется, дня в два пройдет главное. Прощай.

Рукой Н. А. Герцен:

Питье он постоянно меняет: то слабый черный кофе, то чай, то минеральную воду — или бульон.

Поэтому не тревожься, дорогой мой Ага, и напиши нам поскорей, что ты делаешь, что твое здоровье.

Только что была у нас бедная M-me Michel. У нее был паралич, она до сих пор не совсем поправилась.

А дядя Тургенева, который взялся смотреть за его делами в России, так хорошо устроил, что почти разорил его или, скорее, обманул, потому что все остается в его руках. Тургенев должен был продать свой дом в Baden-Baden'е.

Теперь я должна Саше написать несколько слов.

Прощай, обнимаю тебя и крепко целую.

Твоя Т а т а Г.

Большой перемены до субботы не будет, но уже то, что лихорадка уменьшается, очень хорошо».

* желе (франц.).

В последующие три дня Тата не имела возможности писать Огареву. Неожиданное обострение болезни, быстро шедшей к трагическому концу, заставило ее безотлучно быть у постели больного. 21 января Герцена не стало.

На следующий день Тата сообщила горестную весть Огареву. Вторая половина этого письма, помеченная 23 января, написана уже после похорон, которые состоялись в Париже. Упомянутый в письме Тесье дю Моте — ученый, химик, в прошлом участник революции 1848 г., сблизившийся с семьей Герцена в 1851—1852 гг. в Ницце (о нем см. «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 288—290). Таландые — французский революционер, друг семьи Герцена (о нем см. в «Лит. наследстве», т. 62, 1955, стр. 665); им был написан глубоко прочувствованный некролог Герцена, появившийся в газете «La Démocratie» (см. в настоящем томе, стр. 529—530).

«Да, дорогой мой папа-Ага, все, все кончено. Умер он тихо, спокойно, но в бреду. Может, оно лучше, — я уверена, что он ужасно бы страдал, если б сознательно расстался с нами.

Последние двадцать часов я едва могла отходить от кровати, я стояла и мешала ему вставать. Все хотелось ему куда-то идти, поскорей одеться и говорил: „Ну, Тата, хоть ты не мешай — пойдем поскорей вместе“. Я ему опять покрывала ноги, держала одеяло, гладила горячий лоб, умоляла его лежать спокойно — и меня оставить около него.

„Какая ты странная, — повторял он, — все разумничаешь. Ну, хорошо, обещаю, буду смиренно лежать“».

Приведем также описание последних часов жизни Герцена, сделанное Н. А. Тучковой-Огаревой («Воспоминания». Л., 1929, стр. 434): «Все стали кругом его кровати; Тата держала его левую руку. Взор Александра был обращен на нее. Я держала его другую руку. Ольга и Лиза стояли возле кровати за Татой, Мейзенбург позади, а Моно у ног. Пробыло два часа. Дыхание становилось реже и реже. Тата попробовала дать ему пить, но я сделала ей знак, чтоб не тревожить его. Дышал он тише, реже. Наконец, наступила та страшная тишина, которую слышно. Все молчали, как будто боясь нарушить ее. „C'est fini“*, — сказал Моно».

На следующий день, 23 января, Тата писала Огареву:

«Теперь и похороны кончены. Много было русских и поляков, почти все незнакомые. Больнее и приятнее всех мне было видеть Тесье дю Моте — он и жена его были в Ницце восемнадцать лет тому назад, когда умерла мамаша и при похоронах присутствовали.

Куда и когда мы поедем — не знаю.

Покамест пиши еще сюда, в Pavillon Rohan. Сначала я думала, что мы все немедленно поедем к тебе, т. е. в Женеву. Но надобно с другими сговориться — все обдумать.

Обнимаю и крепко, крепко тебя целую, милый папа-Ага.

Talandier вчера узнал из газет — тотчас же приехал и присутствовал при похоронах, несмотря на то, что у него нет лишних денег, — какой чистый и преданный нам человек!

Боже мой, как все кажется пусто — вряд ли он знал, до какой степени я его любила и как меня мучила мысль, что жизнь не устраивается по его вкусу и желанью.

Прощай, до свиданья — мы, во всяком случае, скоро увидимся — не забывай и люби

твою Т а т у Г.

Все здоровы».

* Кончено (франц.).

IV

1870—1877 гг.

ПОДГОТОВКА НЕВЫШЕДШЕГО СБОРНИКА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». — ПОПЫТКИ СОЗДАТЬ БИОГРАФИЮ ГЕРЦЕНА. — ВОСПОМИНАНИЯ Н. А. ГЕРЦЕН «МОИ ВСТРЕЧИ С НЕЧАЕВЫМ». — ЕЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. — Н. А. ГЕРЦЕН У СМЕРТНОГО ОДРА ОГАРЕВА

После смерти Герцена перед его семьей стал вопрос о подготовке посмертного собрания его сочинений. Инициативу в этом деле взяла на себя Н. А. Тучкова-Огарева, которая одновременно готовила перевод на французский язык «Писем из Франции и Италии». К работе над собранием сочинений был привлечен Г. Н. Вырубов, один из душеприказчиков Герцена.

Н. А. Герцен непосредственного участия в этой работе не принимала, но была ею живо заинтересована и делилась своими мыслями о ней с Огаревым. Еще больше заботила ее подготовка к выпуску нового тома «Полярной звезды», посвященного памяти Герцена, где должен был появиться биографический очерк, над которым работал Огарев, и ряд неизданных произведений Герцена.

Об этих вопросах она пишет в февральских письмах 1870 г., в частности — 14 февраля 1870 г.:

«Что же это ты так умолк, дорогой мой Ага? Хоть бы две, три строчки написал, чтобы мы знали, что ты цел и здоров.

Здесь морозы продолжают, вследствие чего почти все нездоровы; вчера Natalie и Мальвида должны были остаться в постели, сегодня им лучше. Я удивляюсь, как Natalie вообще еще цела. Она никогда не выходит, целый божий день сидит — то переписывает, то переводит, так что спина даже у нее болит.

Саша и Пан уезжают в пятницу, провожать гроб. Ольга с Мальвидой, вероятно, останутся еще несколько месяцев в Париже, а мы, т. е. Natalie, Лиза да я, поедем в Женеву, чтоб пожить около тебя, милый Ага.

Возьмем мы просто комнаты в каком-нибудь пансионе, а не квартиру; это гораздо проще и удобнее. Natalie вспомнила, что они были очень довольны пансионом на Pré-l'Evêque, около типографии. Можно попробовать. Жаль только, что здесь Вырубов, — помогает Natalie переводить, и переводит он очень скоро и хорошо.

Помни, Ага, что „Полярная звезда“ должна бы выйти в марте. Биографический очерк ты обещал к 1 марта — тебе остаются две недели едва; будешь ли ты готов?..».

На следующий день Н. А. Герцен спрашивала Огарева:

«...Но скажи, пожалуйста, в каком роде статьи, которые готовятся для „Полярной звезды“? Не должна ли бы она состоять *только* из твоего биографического очерка и папашиных статей?..».

Как известно, проект издания «Полярной звезды» не осуществился: было выпущено издание «Посмертные статьи» А. И. Герцена (Женева, 1870), а статья-некролог Огарева под заглавием «Памяти Герцена» появилась в возобновленном «Колоколе» (№ 3, 16 апреля 1870 г.). Однако напечатание этой краткой статьи не снимало вопроса о подготовке более обширной биографии Герцена. Этим озабочены были близкие и друзья покойного.

Об этом же писал Наталье Александровне и П. Л. Лавров 19 июля <18>70 г. (ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 3, ед. хр. 1; сообщено С. И. Кузьминым):

«Милостивая государыня
Наталя Александровна,

Благодарю вас за ваш ответ и удивляюсь еще более вашего, почему Оз(еровы) не сообщили вам немедленно сведений, которые, конечно, наиболее были важны для вас. С искренним удовольствием узнал я из вашего письма и из слов приятеля, приехавшего на другой день из Женевы, что Н(ечаев) потерял, наконец, всякий кредит в нашей эмиграции и, как я слышал, даже оставил Швейцарию. Не знаю его лично, но думаю, что это был один из наиболее вредных элементов среди наших изгнанников. Но оставим его. Присхав в Париж и познакомившись с г. Вырубовым, который знал вашего отца, я немедленно стал его расспрашивать, не готовит ли кто из людей, бывших близкими к Александру Ивановичу, его подробную биографию. Не только как личность, но и как один из влиятельнейших деятелей своего времени, Александр Иванович мог бы сделаться и должен со временем сделаться предметом труда, в котором около его личности группируются бы многочисленные деятели русские и европейские. Конечно, этот труд был бы еще доступней людям, лично знакомым с интимною жизнью вашего отца, и материалы для подобного труда надо торопиться собирать, потому что многое, живущее в личных воспоминаниях, скоро исчезнет безвозвратно. Г-н Вырубов не мог мне сказать, что подобный труд имеется в виду, но сообщил, что многие личности, знавшие Александра Ивановича, хотели издать сборник, где каждый из них очертил бы его личность и его значение со своей точки зрения.

Месяцы проходят, а об исполнении даже этого труда (по-моему весьма недостаточного) ничего не слышать. Г-на Вырубова я теперь выдаю очень редко. Поэтому я просил бы вас мне сообщить, готовит ли кто подробную биографию вашего отца и кто именно, как мне известны (!), более или менее, литературные таланты разных наших деятелей? Если нет, то собираются ли хоть материалы для полного обзора его деятельности, для оценки его врагов и его союзников? Если не делают и этого, то какое значение придать проекту, о котором мне говорил г. Вырубов? Наконец, еще вопрос: можно ли собрать в Женеве *полные* сочинения Александра Ивановича и что это может стоить и, может быть, имеется в виду новое полное издание его сочинений в скором времени? Извините меня, что я вас затрудняю многочисленными вопросами, но они находятся в связи с разными проектами и предположениями, которых у меня много. Если вы будете так любезны, что не испугаетесь моего скверного почерка и ответите мне на мои вопросы, то вы чрезвычайно обяжете.

П. Лавров

Если вы имсете возможность сообщить г. Бак(унину), что я получил его письмо и ответу на него, как только получу порядочный его адрес, то я буду вам очень благодарен.

Ответ Н. А. Герцен, датированный 21 июля 1870 г., сохранившийся в бумагах Лаврова, содержит не лишенный интереса материал по данному вопросу (Архив ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 198, оп. 4, ед. хр. 107):

«...Господин Вырубов и некоторые из его русских знакомых много говорили о том, что следовало бы написать сначала биографические очерки, а со временем и большую биографию папаша, — но чем кончились эти разговоры, мне неизвестно. Носились слухи, когда мы были еще в Париже, что Иван Сергеевич Тургенев сам предложил написать биографический очерк, но взялся ли он в самом деле за работу, я не могла узнать, хотя расспрашивала общих знакомых.

Приехав в Женеву, я узнала от Огарева, что он сам собирается написать обширную биографию. Конечно, он был всех лучше поставлен для этого; ясно, что он, как единственный в самом деле интимный друг папаши, который жил почти что безразлично с ним последние 15 лет и от которого ничего не скрывалось, мог бы исполнить эту задачу лучше кого бы то ни было, но, к сожалению, он не в состоянии исполнить свое намерение. Он очень состарился в последнее время, силы его падают, он память теряет и решительно неспособен больше взяться за такую большую и трудную работу.

Насчет полного издания ничего не предпринимается, русская публика слишком равнодушна в настоящую минуту; она доказывает, как мало интересуется, тем, что ничего не покупает; большая часть изданий лежит еще у книгопродавцев. В последнее время мне не раз случалось встречать молодых русских, которые решительно не имели никакого понятия о папашиних сочинениях! Конечно, следовало бы сделать полное издание, но мы, дети, одни этого пока еще сделать не можем, на это необходима значительная сумма, которой мы не можем распорядиться в нынешнем году...»

Это письмо помечено Женевой, куда семья Герцена переехала из Парижа после завершения формальной процедуры, связанной с введением детей Герцена в права наследства. Н. А. Герцен писала Огареву 18 февраля, что будет у него 28 февраля. Огарев, еще раньше извещенный о проекте переезда в Женеву, выразил, очевидно, надежду, что Тата станет его помощницей в литературно-редакторской работе (это письмо Огарева до нас не дошло). Тата отвечала ему в упомянутом уже письме от 18 февраля:

«Насколько я буду в состоянии тебе помогать, дорогой мой папа-Ага, я, право, не знаю. *La bonne volonté y est, mais la méfiance en mes propres forces aussi* *, потому что все знаю только по кусочку того или другого...».

Еще при жизни Герцена Огарев поддался влиянию Бакунина и, особенно, Нечаева. Когда Герцен умер, это влияние возросло, и первые месяцы 1870 г. были периодом наибольшей близости Огарева с ними обоими. Именно в это время Нечаев и Бакунин попытались вовлечь дочь Герцена, а также Наталью Алексеевну в свою заговорщическую деятельность, попытались использовать ее влияние на Огарева в своих авантюристических целях. Через месяц после смерти Герцена Бакунин обратился к «обеим *Natalies*» с письмом. Оно содержало пока еще неопределенные призывы к действию, к участию в общем «русском деле»; однако в письме уже отражено намерение Бакунина и стоявшего в тени Нечаева «воскресить» «Колокол», т. е. воспользоваться в своих политических целях одним из наиболее славных знамен всей жизни и деятельности Герцена. Бакунин писал (ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 3, ед. хр. 1; сообщено С. И. Кузьминым):

Обеим Natalies

21-го февраля 1870. Locarno

Я не хотел писать вам в первые дни, потому что такое горе, как ваше, не утешается словами. Да и теперь я не имею нелепого намерения вас утешать, хочу только дружески пожать ваши руки и указать вам, если вы позволите старику, связанному с вами вот уж около десяти лет, — указать вам путь, на котором вы можете найти не утешение, а удовлетворение, т. е. дело. Мы все думаем о том, как бы, совокупными силами, продолжить дело Герцена, переведя его, сообразно с потребностями времени и настоящего положения, из теории на практику. Все, что Герцен думал, смел думать — а никто не опередил его в теории — мы, деятели, более скромные, менее его способные и признанные, хотим делать. Мы хотим воскресить «Коло-

* Добрая воля есть, но есть и неверие в собственные силы (франц.).

Н. А. ГЕРЦЕН

Фотография, 1860-е гг.

Литературный музей, Москва



кол» — лучший памятник, который можем поставить ему — помогите нам. Ведь теперь уж прошло то время, когда делили искусственно и насильственно право и призвание женщин от призвания и права мужчин. На вас лежит та же самая обязанность, что и на нас. У вас, Natalie старшая, есть, правда, особенное дело — дочь. Но вы любите Герцена, ваш ум, ваше сердце были всегда связаны с его делом и широко заходили за тесные пределы домашней жизни — вы обязаны продолжить, хотя и в новых условиях и формах, его дело. У вас, бедная Natalie младшая, нет никакой цели в жизни. Ваше сердце полно любви, ваш светлый ум полон силы, природа вас одарила богато — и вместе с тем у вас под ногами нет почвы и, проводя свою жизнь в бесцельном дилетантизме, вы дезориентированное, с толку сбитое существо. „Что ж мне делать?“ — спросите вы, если не рассердитесь и захотите спросить. Делайте с нами вместе русское дело. Полно вам, друзья, рыскать и таскаться, как бледные тени, по белому свету. Соберитесь, соберемся все вокруг Огарева, нашего святого старика, лучшего друга Герцена, и будем с общего совета делать каждый, что умеет, что может для освобождения русского народа. Не будем скромничать, не будем также и важничать — дело не в наших талантах, а в деле. Вместе мы будем умны. Будем иногда спорить, пожалуй и горячо спорить, да оно не беда — поспорим, да и не разойдемся, а споемся. Герцен был последний одинокий русский деятель. Теперь наступило время ума и действия коллективного. На эту коллективность я вас зову.

Я уговариваю и настоятельно требую от Огарева, чтоб он переехал в Цюрих. По разным причинам мне невозможно будет поселиться в Женеве. К тому ж Женева стала ныне в *политическом отношении* местом решительно невозможным. В Цюрихе свобода *действительная*. В Цюрихе есть для Лизы университет и разные профессоры — приезжайте весной в Цюрих, и проведем вместе там лето. Вы видите, я действую *à bout portant* *, прямо говорю вам, в чем дело, и кончу это письмо следующими словами: непростительно, преступно будет с вашей стороны, если вы оставите Огарева в его грустном одиночестве.

Позвольте мне назваться вашим старым другом.

М. Б а к у н и н

В «празжской коллекции» сохранилась газетная вырезка — переведенные с неизвестного французского подлинника воспоминания Н. А. Герцен о встречах с Нечаевым и Бакуниным. Мы не располагаем сведениями, когда были написаны эти воспоминания; возможно, что они относятся к более позднему времени, когда Наталья Александровна уже была в преклонном возрасте. Но достоверность сообщаемых ею фактов не подлежит сомнению. Это подтверждается, в частности, опубликованными в 1930 г. отрывками из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой («Архив Н. А. и Н. П. Огаревых», М.—Л., 1930, стр. 268—278), которая рассказала в них о попытках Бакунина и Нечаева привлечь Н. А. Герцен к своей конспиративной деятельности, о поездке Натальи Александровны в горы, о том, как Нечаев был переправлен на границу Швейцарии при ближайшем содействии Н. А. Тучковой-Огаревой.

В публикуемых воспоминаниях заслуживают особенного внимания эпизоды, рассказывающие об Огареве. Отмечая все растущее в это время влияние на него Нечаева и Бакунина, Н. А. Герцен, вместе с тем, с чувством глубокого удовлетворения рассказывает об отказе Огарева подписать предложенную ему Нечаевым «программу» (о каком документе идет речь, неизвестно). Необычайно выразительна сцена, когда уступчивый и мягкий Огарев «с несвойственной ему энергией» протестует против каких-то «параграфов» нечаевской «программы», содержавших «лицемерие и иезуитизм». Отметим, кстати, что рассказ Таты о ее поездке в горы вносит существенную поправку в соответствующий отрывок из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой, ошибочно утверждавшей, что Н. А. Герцен была послана в горы Нечаевым.

«МОИ ВСТРЕЧИ С НЕЧАЕВЫМ»

«После смерти моего отца, 21 января 1870 года, я думала только об Огареве, о потрясении, которое он переживал, и настояла на том, чтоб меня отпустили в Женеву,— чтоб убедиться, в какой мере я могу его утешить.

Приехав в Женеву, я нашла Огарева лучше, чем ожидала. Он был поглощен интригами Бакунина и Нечаева, но заботился обо мне, старался меня успокоить и говорил, что я могу продолжать дело своего отца. „Как?“ — с удивлением спрашивала я Огарева. — „Еще и сам не знаю,— отвечал он.— Надо посмотреть, что ты можешь сделать. Пока помоги мне разобрать бумаги: они в таком беспорядке, и ты знаешь, как я устаю от их разборки. Татьяна Петровна Пассек уже рылась в этих ящиках и оставила бумаги в величайшем беспорядке“.

Мне ничего лучшего не надо было, и первое время я этим только и занималась, наблюдая пока за тем, что около нас происходило. В это время я не знала еще, что Нечаев потихоньку от Огарева рылся в его бумагах.

* прямолинейно (франц.).

Бакунин приходил каждый день. Сидя в конце стола в этой столовой-гостиной, он дюжинами делал себе папиросы.

Часто приходили молодые люди. Бакунин встречал их приветом: „Здравствуй, братец, а ты кто, откуда? Ну, подходи, садись, рассказывай...“. Этой манерой доброго малого он сразу завоевывал сердце и доверие новоприбывшего.

После приходил Нечаев, остававшийся на целые часы, рассуждавший с Бакуниным и Огаревым, прохаживаясь по комнате из угла в угол. Временами Бакунин говорил мне:

— Да, да, вы должны идти по стопам отца и работать для России.

— Я не знаю, что я могу делать для этого.

— Ну, увидим, а пока Нечаев даст вам работу.

Нечаев с обычной резкостью сказал:

— Работа в соседней комнате. Пойдемте, я вам покажу.

Я последовала за ним в маленькую комнату рядом. Там навалены были стопы пакетов, завернутых книг и заготовленных конвертов.

— Вот начните с этого — надпишите на всем этом адреса.

Это заняло у меня несколько дней. Раз, пока я писала, вошел Нечаев и в упор спросил:

— Рисовать умеете?

Я ответила „да“ и продолжала писать.

— Можете нарисовать мне мужика?

С удивлением я отвечала:

— Да, могу срисовать с модели: я в жизни не видала мужика. И то, что вы говорите, очень неопределенно. Какой величины нужен рисунок и что делает мужик?

— Что за история, сколько вопросов! Ну, так вот, на такой бумаге и наверху мужик в круге, величиной с пятифранковую монету.

— Что вы, пожалуй, банкноты собираетесь печатать?

— Что вы вздор порете? — И при этом плюет в сторону.

Он вдруг остановился и спрашивает:

— Сумеете ли нарисовать факел и топор?

Я воскликнула:

— Что вы хотите сделать из этого заголовка — прокламации или билеты?

— Какие глупости! — и он вышел из комнаты.

Бакунин ежедневно доказывал мне, что я должна быть с ними, хотя бы для того, чтоб продолжать дело отца. Я постоянно отвечала одно и то же: „Надо, чтобы для меня были ясны цели и средства“.

Огарев также старался меня убедить. Ему одному я доверяла. Я вспоминала, как мой отец отрицательно относился к способу действий Бакунина. Это воспоминание поддерживало мою недоверчивость, и я была настроена, несмотря на мою любовь и уважение к Огареву, который, видимо, к великому моему сожалению, подпадал под влияние Бакунина и Нечаева. Я постоянно добивалась ответа на вопрос, что могу делать? Бакунин полусловами давал мне понять вещи, которые меня возмущали. Например: „Молодая, красивая женщина всегда может быть полезна“. Я с удивлением молчала. „Это очень просто. Сколько есть богачей, молодых и старых, которых легко закружить и заставить давать деньги для дела“.

Когда он видел мое возмущение, он сейчас же менял разговор. Видя, что дело его не подвигается, он попробовал действовать на мое воображение. Раз он мне сказал, что у него со мной должен быть серьезный разговор помимо Огарева и что он хочет мне назначить свиданье в № таком-то, такой-то улицы, которой я не знала и которую не помню. Поздно вечером, в темноте, я искала эту улицу в квартале Сен-Пьер и искала указанный

мне этаж в доме, мне совершенно незнакомом. Меня ввели в комнату, в которой меня ждал Бакунин. Вскоре появился Нечаев и начал тотчас ходить из угла в угол, взад и вперед. Оба принялись увещевать меня, пожалуй принуждать присоединиться к ним. Они старались доказать мне, насколько легко мне было помочь им, хотя бы деньгами. Я могла бы уполномочить их поставить мое имя в заголовке „Колокола“, который они хотели издавать как продолжение прежнего.

— Никогда,— говорила я,— никогда, потому что ваш „Колокол“ не будет иметь ничего общего с прежним.

Взбешенные моим ответом, они обозвали меня кисейной барышней, ни на что не годной. Нечаев словами и жестами вышел из всяких границ. Бакунин старался его усмирить: „Ну, ну, тигренок, успокойся“.

Было уже очень поздно, и я объявила, что хочу уходить. Нечаев исчез, а Бакунин предложил мне проводить меня и проводил до дверей нашего пансиона.

Спустя некоторое время русское правительство обратилось к швейцарским властям с ходатайством о выдаче Нечаева как обыкновенного уголовного преступника. Нечаев из предосторожности скрылся, переименовав имя. Я потеряла его из виду, когда Огарев как-то пригласил меня к себе переговорить о деле.

Я сейчас же отправилась к нему.

— Вот в чем дело,— сказал он,— эту рукопись — она очень важная — надо доставить Нечаеву, который прячется под видом англичанина. Меня спросили, не знаю ли я кого-нибудь, на кого можно вполне положиться. Я отвечал, что ручаться могу только за тебя.—Так вот, берешься ли ты доставить эту рукопись?

— Куда же я должна ехать?

Огарев отвечал:

— Точно не знаю. Придется сначала отправиться в Невшатель. Там, в типографии Гильома, тебе скажут, куда ехать. Но чтобы сказали, надо знать пароль (кажется, это были названия трех цветков — генциана, рододендрон и эдельвейс).

Я была взволнована странным поручением и неизвестностью цели путешествия, но, в угоду Огареву и чтобы его успокоить, согласилась.

— Под каким именем искать Нечаева?

— Тебе это скажут в Невшателе.

— Значит, мне только надо передать рукопись?

— Нет, нет. Видишь эти параграфы? Ты скажи Нечаеву, что никогда, никогда я не соглашусь подписать их программу, если их не вычеркнут. Никогда,— повторил Огарев, с не свойственной ему энергией.

Я пробежала эти параграфы и от всего сердца обрадовалась негодованию Огарева и пустилась в путь, успокоенная и уверенная, что вернусь в тот же день.

Мне было не по себе, когда я приехала в Невшатель, город, который я совсем не знала. Временами мне казалось, что за мной следят, и я едва решалась спросить дорогу, хотя это было необходимо. Наконец, я дошла до какого-то прохода, на который мне указали, как на вход в типографию Гильома. При входе стоял рабочий, которого я спросила, как увидеть г. Гильома?— „Я вам его позову“. Вышел господин, худой, с неподвижным лицом, в очках. Он сухо спросил меня:

— Что вам угодно?

— Адрес г-на Х., которому я должна передать рукопись.

— Г-н Х., г-н Х...— не знаю.

Я совсем растерялась и повторяла:

— Мне сказали, что вы дадите мне его адрес.

Гильом неподвижно и сурово повторял:

— Не знаю.

Взволнованная, несчастная, через несколько минут я воскликнула:

— О, г. Гильом, мне сообщили условное слово, которое я вам должна сказать, но я его забыла. Пойдите, пойдите, дело шло о цветах, началось, кажется, с генциана...

Он улыбнулся и назвал мне два остальных цветка.

Немного оттаявший, он позвал меня:

— Входите, входите. Знаете ли вы, что вы еще не у цели вашей поездки?

— Я не знаю, куда я должна ехать, но я должна сегодня вечером вернуться в Женеву.

— В Женеву? Но это невозможно! Туда нет ночных поездов.

Расстроенная, я повторяла:

— Но мне надо, надо вернуться в Женеву...

— Невозможно. Вы доедете, куда вам надо, только под вечер и после уже не будет поезда. (В это время во всей Швейцарии совсем не было ночных поездов.)

Я совсем растерялась, спрашивая себя, что делать.

Подумавши минутку, Гильом мне сказал:

— Я телеграфирую в Локль, куда вам надо ехать. Вы доедете туда только к ночи. Я попрошу своих друзей приютить вас, потому что вам нельзя останавливаться в гостинице. Ваше появление возбудит любопытство, вся деревня узнает о вашем приезде, а этого-то и надо избежать ради безопасности Х. Решено, что вас встретят на станции, а вы с своей стороны должны держать в левой руке платок...

Моя тревога росла, и я с тоской вздыхала. Наконец, я спросила:

— Когда идет мой поезд?

— У вас будет еще время, — сказал мне г. Гильом, — и я вас провожу до станции.

Когда мы дошли до станции, он меня спросил:

— Вы обедали?

Я отвечала:

— Нет.

— Вам так ехать нельзя. Позвольте предложить вам обед?

Я отказалась, он настаивал, говоря:

— Но ведь холодно, съешьте, по крайней мере, суп.

Я сдалась и согласилась на суп. Пока я ела, Гильом вытащил из кармана письмо и, не разворачивая его, показал мне и спросил:

— Вам этот почерк знаком?

— Конечно, — отвечаю я, — это почерк Бакунина.

— А это письмо узнаете?

Я тоже признала и несколько других, которые он мне показал.

— Удивительно, — сказал он вполголоса, как бы говоря про себя. —

Удивительны вы, русские.

Я смотрела вопросительно на него.

— Да, такая вы молоденькая и уже заговорщица.

— Огарев просил меня свезти рукопись г. Х., что я и делаю. И это всё.

— Все-таки, все-таки...

Мой поезд подходил. Гильом советовал мне держать платок в левой руке и довериться лицам, которым он меня рекомендует. Я вошла в вагон. Путешественники входили и выходили один за другим. И я наконец осталась одна в поезде. Было темно, когда я доехала до Локля. Я вышла. Вся станция — будка. И никто меня не ждал, кроме служащего, отбирающего билеты. Пришлось отдать ему билет и выйти на улицу, где я увидела перед собой только снежное поле. Я еще раздумывала, что же мне делать, когда из-за будки вышли две тени — одна высокая, другая поменьше. Они

приблизились и сказали мне что-то, чего я не поняла, но в волнении отвечала: „Да, да“.

— Так идите с нами. И я молча пошла за ними по дорожке, пересекавшей снежное поле. Спутники мои остановились перед первым домом в деревне. Он был меньше и ниже всех следующих домов. Они постучали. Дверь открылась и пропустила нас всех троих в коридор, узкий и совсем темный. Они посвистали, и сверху какой-то голос им ответил. Они проборотали что-то и ушли. Я осталась, прислонившись к стене, не смея двинуться, чтоб не скатиться вниз по лестнице. Через минуту, которая показалась мне очень долгой, я увидела свет наверху круглой лестницы, там стоял маленький горбун со свечой. Он пальцем сделал мне знак подниматься. Я последовала за ним, и он привел меня в совсем маленький салон, очень мало меблированный. Горбун сделал мне знак сесть на маленький диванчик и исчез. Я не знала, что ждет меня, время мне казалось чрезвычайно длинным. Наконец, дверь открылась и появилась карлица, тоже горбатая. Она меня спросила, что мне угодно.

— Увидеть господина Х.

— Подождите минутку, — ответила она и исчезла. На улице была темная ночь, и я спрашивала себя, что ждет меня. Но скоро вернулась маленькая карлица, сделала мне знак следовать за ней, и мы вышли не по той лестнице, по которой вошли. Она отворила дверь, и я увидела комнату, довольно большую, с низким потолком, как обыкновенно в шалэ. Нечаев, по обыкновению, ходил взад и вперед по комнате.

— А, это вы, — отрывисто сказал он, увидев меня. — Снимайте шапку, садитесь. Ну что же вы привезли?

— Рукопись от Огарева, — отвечала я. — Он поручил мне указать вам два параграфа, которых он не одобряет и не может подписать.

— Вот глупые выдумки: без них нельзя обойтись.

— Огарев был очень категоричен, и я убеждена, что в теперешнем ее виде он рукописи не подпишет.

Нечаев, бранясь, несколько раз прошелся по комнате, остановился передо мною и резко сказал:

— Ну, а вы? Вы имеете такое влияние на Огарева, почему вы его не убедите?

Я с удивлением и негодованием возразила:

— Ни за что, я вполне согласна с Огаревым и буду его поддерживать.

— Кисейная барышня! Ничего с ними не поделаешь!

Прерывая свое хождение, он меня спросил:

— Вы, чай, проголодались?

Было уже 11 часов вечера. Нечаев на минуту вышел, и вскоре появилась маленькая карлица, неся на подносе чай и все, что к нему нужно.

Я не прочь была выпить что-нибудь горячее. А Нечаев не давал мне отдыха и до полуночи продолжал развивать свои доводы.

Я совершенно обессилела. Он, должно быть, заметил это и сказал:

— Вам, вероятно, нужно отдохнуть?

— Да, но где?

— Здесь. — И он указал мне на большую деревянную кровать, на которой подушки, пуховик и простыни были из материи в красных и белых клетках, таких же, какие были на занавесках низеньких окон, занимавших чуть ли не все стены (как обыкновенно в шалэ).

— Но разве это не ваша комната? Где вы сами собираетесь спать?

— Обо мне не беспокойтесь. Наш брат умеет устроиться. Я найду стул в кухне или расположусь на столе или под столом.

Я протестовала, но делать было нечего. Пришла карлица, приготовила мне постель и ушла. Оставшись одна в этой большой комнате, я осмотрела замки и нашла, что не хватает ключа и нет задвижки. Мне было очень до-

сально, и я готовилась лечь, не раздеваясь, когда заметила два огромных крюка с каждой стороны двери. Я поняла, что им должно что-нибудь соответствовать, принялась искать и нашла под кроватью огромную железную полосу. Я сумела ее вытащить и положить за крючья. Тогда только я почувствовала себя спокойной, разделась, легла и спала очень хорошо.

На другой день утром карлица принесла мне утренний завтрак, очень мило поданный. Нечаев тоже появился и сразу начал свои речи по поводу



Г. А. ЛОПАТИН

Фотография, 1884 г.

Исторический музей, Москва

параграфов. Я уже не слушала его, потому что была полна одним желанием поскорее уехать. Я спросила, когда отходит поезд?

— О, у вас еще много времени, нет поезда раньше 10 с половиной.

В 10 часов, уже готовая, я собралась уходить. Нечаев повторял: „Слишком рано, слишком рано! Мы в двух шагах от станции, я вас провожу“.

— Это рискованно; вас могут увидеть с незнакомой особой, и я решительно не хочу, чтобы вы меня провожали.

— Только несколько шагов пройду с вами, а на станцию входить не буду.

Он повел меня окольной дорогой, и вышло так, что мы к поезду опоздали.

Я была в бешенстве и заявила, что останусь на станции до следующего поезда, потому что во что бы то ни стало хочу вернуться в Женеву сегодня вечером.

— Это невозможно, — отвечал Нечаев, — будет только один поезд после обеда, и тот не сообщается с поездом в Женеву.

Я была до последней степени возмущена, но что же было делать? Приходилось возвращаться к маленькому горбуну и маленькой карлице и провести еще 24 часа, слушая речи Нечаева, который распалялся все более и более, стараясь убедить меня, что Огарев должен подписать рукопись и что ничего нельзя будет сделать, если опустить два спорных параграфа. А я в ответ говорила ему, что они хотят проповедовать лицемерие и иезуитизм и что я только радуюсь отказу Огарева.

И так весь день и весь вечер до самой минуты отъезда моего на другой день утром. Это был день страшно тягостный, ибо я все время терзалась мыслью о беспокойстве Натальи Алексеевны <Огаревой> по поводу моего таинственного исчезновения, которое я при возвращении не сумею объяснить. Что я отвечу на все вопросы, которые мне зададут, когда я должна молчать о всем, что сделала?

Так мучилась я до самой минуты возвращения.

Какое утешение, когда Наталья Алексеевна, увидев меня, пошла мне навстречу с распростертыми объятиями, вся счастливая, и воскликнула: „Наконец-то я тебя вижу здоровой!“

Щадя меня, она не задавала мне никаких вопросов, но рассказывала о беспокойстве, которое она пережила вместе с Тхоржевским (другом Герцена и его семейства). Тревожась о моем отсутствии, Наталья Алексеевна спрашивала совета у Тхоржевского. Тот советовал подождать до завтра, а когда и завтра меня не было, встревожился и предложил: „Идем к Карлу Фохту и, прежде чем идти в полицию, спросим его мнения“. — Карл Фохт их успокоил и посоветовал не путать в это дело полицию, повторяя: „Будьте спокойны. Тата особа благоразумная, она вернется!“. Они решили подождать, а я вернулась.

Я потеряла Нечаева из виду, но я знала, что полиция его ищет по его следам, что он прячется, меняя имя и место жительства. Мы тоже переехали из пансиона, где жили, в небольшой дом в Сен-Жан ла Тур. Мы — это Наталья Алексеевна, ее дочь Лиза, мой племянник Александр, которого я взяла к себе на это время, горничная-итальянка, верная и преданная Герминия Жарделль, и я.

Раз вечером звонят у входа. Я вышла отпереть и к удивлению очутилась лицом к лицу с Нечаевым.

— Вы как тут? — говорю я. — Вы знаете, что полиция вас ищет?

Нечаев неподвижен.

— Да, я знаю. Поэтому я и пришел к вам с просьбой дать мне пристанище на одну ночь.

— Я не одна. Я должна сказать об этом Наталье Алексеевне. — И побежала к ней.

— Ты знаешь мои чувства к Нечаеву (она его терпеть не могла).

— Так что же, отказать?

— В таких обстоятельствах отказать нельзя. Пусть входит.

Нечаев вошел и протянул руку Наталье Алексеевне. Мы переглянулись с ней и спрашивали себя, как поступить, где его поместить так, чтобы никто не заметил, особенно наш домохозяин, который жил рядом в большом доме, окна которого выходили на наш двор. Рядом с моей комнатой была другая, маленькая, служившая складом для мебели, нам не нужной. Мы начали с того, что матрацами заслонили окна, через которые мог бы проникнуть любопытный взор домохозяина. После этого мы кое-как устроили постель для Нечаева. Сюда мы поочередно носили ему кушанье. Нам

помогала верная Герминия, которой мы должны были открыть тайну. Истая итальянка, она в этой таинственности чувствовала себя как рыба в воде. Мы в столовой приготавливали еду для Нечаева, и Герминия сама мыла тарелки и блюда и сейчас же ставила их на место, так что кухарка никогда не подозревала, что в доме есть лишний человек.

Прошли 24 часа; Нечаев оставался у нас и не обнаруживал намеренья уйти, так что спустя несколько дней мы ему напомнили, что ему в самом деле опасно оставаться в Швейцарии.

— Да, — отвечал он, — да вот Замперини (итальянский заговорщик, один пришедший повидать Нечаева пока он был у нас) все обещает мне принести блузу и корзинку и не приносит...

— Я уж возьмусь переправить вас через границу, — сказала Наталья Алексеевна и вышла из комнаты.

Оставшись наедине со мной, Нечаев сказал мне:

— Мне надо совершить очень важное путешествие.

— Выходить вам очень опасно; вы этого не можете сделать.

— Я обо всем подумал. Лучше всего надеть мне женское платье и в нем идти на свиданье поздно вечером, когда темно. Дайте мне сейчас платье и научите меня, каких движений я должен избегать. Мне рекомендовали обратить внимание на жесты — они очень резки и легко могли бы выдать меня.

— Это верно. Для начала сядьте.

Я ему дала самые странные наставленья, как сколько-нибудь внести гармонию в его движения. Он сказал мне:

— Я рассчитываю, что вы отправитесь со мной и будете наблюдать за моими движениями.

— Я не могу идти так поздно, не сказавшись Наталье Алексеевне.

— Это зачем? Разве вы несовершеннолетняя?

Я пошла рассказать Наталье Алексеевне. Та запротестовала.

— Что за идея? Никогда я не отпущу тебя одну. Поди и скажи ему, что я пойду с тобой.

Это предложение привело в ужас Нечаева.

После многих колебаний было решено, что я могу идти, если славная Герминия пойдет с нами. Наталья Алексеевна, чтоб скорее отделаться от Нечаева, принесла необходимую одежду.

Кончив переодевание, мы в 10-м часу отправились по направлению к Лозанне. Шли, имея Нечаева в середине и, при приближении какой-нибудь тени, говорили ему делать шаги меньше.

Скоро дорога опустела, за поздним часом мы никого не встречали, проходя одну деревню за другой. Я спросила Нечаева:

— Куда же мы идем?

— Вот мы сейчас придем.

Мы подошли к вилле, спрятанной в зелени и не видной с дороги.

— Вот мы и пришли, — сказал Нечаев, толкая маленькую калитку.

Нам пришлось спуститься через несколько ступенек, чтоб войти в дом — ниже дороги. Сад спускался до самого озера.

Нечаев привел нас в коридор и сказал:

— Здесь подождите, у меня есть дело на несколько минут, и я вернусь.

Он исчез в соседней комнате. Герминия вздыхала:

— Да когда же мы вернемся? Скоро уже полночь...

Я слышала разговор в соседней комнате, не понимая, о чем идет речь, но могла разобрать голоса. И к крайнему моему изумлению я узнала голос Бакунина. „Возможно ли это, — спрашивала я себя, — или я ошибаюсь?“ Разговор продолжал становиться живее, и вздохи Герминии шли крестендо.

Наконец появился Нечаев и просто сказал:

— Теперь можно идти.

Мы пустились в путь. Я решительно не знала, где мы были, и только через несколько лет мне рассказывали, что в старые времена в этой вилле жила какая-то турецкая компания.

Мы шли молча. И только бедная Герминия стонала. Я сама чувствовала, что у меня ноги горят, а когда мы к трем часам вернулись домой и я разулась, <то увидела>, что мои ноги стерты.

Наталя Алексеевна, понятно, ждала нас. Она была рада видеть меня в целости и сохранности, но ей было довольно Нечаева.

На другой день она сообщила свой план Нечаеву.

— В конце концов вам важно только перейти границу, — сказала она. — Для этого Замперини вам не нужен. Я все сделаю. Будьте готовы завтра к полудню.

Завтра в полдень у нашего крыльца остановилась парная коляска. Наталя Алексеевна и ее маленькая дочь были готовы. Она пригласила Нечаева следовать за ней. Нечаев простился со мной, пожав мне руку, сел в коляску, и все трое покатили в Ферне (усадьба Вольтера).

Наталя Алексеевна, вернувшись, рассказала, что все произошло без всякой помехи, с полным успехом.

Мы потеряли Нечаева из виду и зажили попрежнему, а эмигранты предавались своим раздорам.

Каково же было мое удивление, когда однажды утром Нечаев снова появился у нашей двери. Серьезно испуганная, я ему сказала:

— Что вы делаете? Вы знаете, как теперь вас ищет полиция?

— О, не бойтесь!

— Я не за себя боюсь, а за вас.

— Я не останусь у вас, мне довольно нескольких минут разговора с вами с глазу на глаз.

Я пригласила его войти, и он мне сказал:

— Вы знаете, что студенты и эмигранты устраивают чрезвычайное собрание, на котором будут обсуждаться наши дела. Я пришел просить вас прийти на это собрание.

У меня не было никакой охоты, и я отказала. Но он настаивал. И я кончила тем, что согласилась.

— Обещайте мне, что вы придете. Для меня это очень важно.

Я обещалась, чтобы избавиться, и сдержала бы свое обещание, если бы непредвиденное обстоятельство не повлияло на перемену моего решения.

Рано после обеда горничная приходит сказать, что какой-то господин хочет со мной говорить. Я пошла в салон, где встретила молодого человека, высокого, плотного, с маленькими белокурыми усами, в очках. Лицо как будто знакомо, но имени не вспомню.

— Вы, вероятно, меня не узнаете, — сказал он, кланяясь. — Я Герман Лопатин, я был у вашего отца в Лондоне.

Я прервала его:

— Вспоминаю хорошо, что видела вас в Лондоне, у отца.

— Я большой почитатель вашего отца и поэтому позволил себе явиться к вам и просить вас выслушать меня в течение нескольких минут. Дело очень серьезное, и мне надо говорить с вами наедине. Здесь в салоне нам могут помешать.

Я ввела его в свою комнату и сказала, что буду слушать. Он сразу приступил к делу:

— Вы знаете, какое сегодня вечером будет собрание русской молодежи и эмигрантов для обсуждения дела Нечаева. Собираетесь ли вы туда идти?

— Да, я только что это обещала.

Он вскочил в большом волнении и говорит мне:

— Нет, нет, это невозможно. Дочь Александра Ивановича Герцена не должна присутствовать в таком собрании.

Пораженная энергией и одушевлением его речи, я ему сказала:

— Но почему? В чем тут дело?

— Знаете ли вы, кто такой Нечаев? Знаете ли вы, какую роль он играл в деле Иванова?

— Нет,— отвечала я с большим удивлением... — На это он рассказал мне трагедию этого несчастного студента, трагедию, в которой Нечаев играл главную роль. Он завлек Иванова в засаду и там прикончил его после страшной борьбы.

— Заметили ли вы рубцы на его большом пальце?

— Да, я их видела и даже спросила, что это значит, что это такое?

— Он вам не мог ответить, потому что это следы укусов его несчастной жертвы. Поймите, что вы не должны идти на собрание. Для тех, кто любит и чтит память вашего отца, невыносимо предположение о вашем участии. Они должны все сделать, чтоб вас от этого удержать.

Я была пришиблена, раздавлена этим открытием. Я могла только благодарить Лопатина за его вмешательство. Все его существо было проникнуто искренностью и правдой, и я ни одной минуты не сомневалась в правде его рассказа.

Лопатин встал и, пожимая мне руку, сказал:

— Значит, вы не пойдете на собрание, можно ли на это рассчитывать?

— Да,— ответила я и еще раз поблагодарила. Он ушел.

С этой минуты я всегда считала Лопатина моим спасителем и всегда об этом заявляла, рассказывая об этих событиях.

Раз только, лет через двенадцать, видела я Лопатина в течение нескольких минут, на одной русской вечеринке, в *Салль де милль колонн* в Париже. Я его узнала, несмотря на его большую белую бороду.

Нечаева я никогда больше не видала и, понятно, не имела с ним никаких сношений.

Наталья Герцен

Приведенные нами воспоминания рассказывают о событиях, которые должны быть отнесены к весне и лету 1870 г. (процитированные Н. А. Герцен в начале слова Огарева о Т. П. Пассек следует считать ошибкой памяти: Пассек посетила Огарева в Женеве летом 1873 г.).

Общение Н. А. Герцен с Лопатиным явно не ограничилось,— вопреки тому, что она пишет,— одной встречей. Во всяком случае, между ними была переписка, и Лопатин, открывая Наталье Александровне глаза на Нечаева, старался, в свою очередь, опереться на авторитет дочери Герцена в своих разоблачениях Нечаева. Об этом свидетельствует следующее письмо (ЦГАЛИ, ф. 129, оп. 3, ед. хр. 1; сообщено С. И. Кузьминым):

Париж. 26 мая 1870 г.

Я намерен обратиться к вам, Наталья Александровна, с маленькой просьбою.

Вы помните: я всегда очень желал, чтобы вы присутствовали при моих объяснениях с Нечаевым, так как во всякого рода сношениях с подобными личностями присутствие постороннего, честного свидетеля составляет почти необходимость. Но тогда я еще не предвидел, как скоро придется мне раскаться в том, что я не настаивал на исполнении своего желания с большею энергией.

Нечаев, передавая мои разговоры с ним Бакунину, не скажу *извратил* мои слова — нет, но он просто *выдумал* заново целый ряд вещей, которые

я будто бы говорил, но о которых я, на самом деле, не имею ни малейшего понятия. Бакунин считал для себя удобным опять *поверить* вымыслам Нечаева, нелепым до очевидности, и на основании их написал мне длинное письмо, которое я теперь пересылаю вам.

Вот в чем состоит, собственно говоря, моя просьба: во-первых, вы дадите себе труд прочесть письмо Бакунина от начала до конца, после чего вы перешлете мне его обратно, так как оно мне нужно, и я ни за что не желал бы потерять его; во-вторых, вы потруди(те)сь точно так же прочесть мой ответ к нему, несмотря на всю его убийственную величину; затем, я попрошу вас передать этот ответ Бакунину, который прочтет его в присутствии вашем, Огарева, Озерова и, если можно, Нечаева, к которому письмо мое имеет самое непосредственное отношение. Я ничего не имею также против того, чтобы м-ме Озерова присутствовала при этом чтении.

Когда вы прочтете оба посылаемые мною вам письма, вы сами увидите, в чем дело, и сами легко поймете, до какой степени важно для меня сделать свидетелями моих объяснений с Бакуниным и Нечаевым двух-трех честных людей, способных разобрать — на чьей стороне справедливость. А вы это можете сделать, потому что, как вы увидите, дело это вам до некоторой степени знакомо.

Я считаю вас человеком честным; сверх того, я не мог не заметить, что вы желаете выяснить для себя истинное значение окружающих вас людей и, в этих видах, не отступаете иной раз от некоторого труда и хлопот; все это дало мне смелость обратиться к вам с моею просьбою. Но если вы почему-либо не найдете для себя возможным ее исполнить сами, то в таком случае будьте добры — передайте Озерову мой ответ Бакунину; Озеров сделает сам тогда все, что будет нужно; а письмо Бакунина все-таки перешлите обратно ко мне.

Если вы затруднитесь разбором моего или бакунинского почерка, можете обратиться к Озерову или к Наталье Алексеевне, так как я не намерен делать из этого дела ни малейшей тайны.

Если бы вы уведомили меня, хотя в нескольких словах, о получении моего письма, об исполнении моей просьбы и о последовавших результатах, то я считал бы себя очень обязанным вам за это. Если бы вы затруднились отвечать по-русски, ответьте по-французски: для меня это решительно все равно, так как на бумаге французский язык меня не затрудняет.

Л о п а т и н

Мой адрес: Paris. Rue de Vaugirard, 3, Hôtel Macon, logis № 15, М-г Lopatine.

Воспоминания Н. А. Герцен о твердости, проявленной ею в сношениях с Нечаевым, подтверждаются рядом документов, относящихся непосредственно к лету 1870 г. Содержание двух из этих документов связано с судьбой Бахметевского фонда, половину которого Герцен, незадолго до смерти, отдал Огареву, по настойчивому его требованию. Огарев же передал эти средства Нечаеву, который обещал подтвердить получение денег специальной распиской, но обещания своего не выполнил, а вместо того, после смерти Герцена, заявил претензию и на другую половину фонда. Огарев был согласен израсходовать оставшиеся деньги, но только при условии продолжения издания возобновленного «Колокола», приостановившегося на шестом номере 9 мая 1870 г. Он считал необходимым изложить свое решение в специальном документе. Текст его гласил:

«Мы, т. е. покойный Герцен и я, нижеподписавшийся, получили в Лондоне фонд для русского дела, и я передал его (а до сих пор расписки я не получил) куда следует через посредство Нечаева. Бакунин в передаче и получении денег совершенно не участвовал.

В моем распоряжении остаются тысяча четыреста десять франков и пятьдесят сантимов, из которых я ни сантима никому не выдам до получения ответа об издании „Колокола“.

20-го июня 1870 года
Женева

Николай Огарев

Рукой Серебренникова:

Что это свидетельство
действительно сделано
и подписано г. Ник. Пла-
тоновичем Огаревым,
утверждают:

Наталя Герцен
Наталя Герцен
<рукой Н. А. Тучковой-Ога-
ревой>
Семен Серебренников».

Проект этого «свидетельства» Огарев предварительно показывал Н. А. Герцен. Мы узнаем об этом из ее письма к Огареву, датированного 16 июня 1870 г., в котором она писала:

«...Как же ты в расписке написал, что отдал весь фонд тако-
му-то, а потом прибавляешь, что в твоём распоряжении осталось еще
столько-то?

Помни, что теперь остается только 1410 франков 50 сантимов, потому
что несколько раз уж приходилось платить.

Расписки тебе Нечаеву отдавать или посылать совсем не следовало бы,
потому что он, ничего не сказав, увез с собой все счета и не возвратил их
„куда следует“, как обещался...».

Мы, т. е., Николай Герцен
и я, представляющий — поименно
в Лондон фонд под рукою Ник.
и я передаю по / а / до сих пор
расписки и не получаю / куда это
ушло? через посредство Нечаева
Благодарю в передаче и получении
денег совершенно исправляю.
Во время распоряжения отпущено
много — отпущено — деньги франков
и отпущено сантимов, из
которых я ни сантима никому
не выдаю до получения ответа
об издании Колокола.

Николай Огарев
20-го июня 1870 года

Фонд
Это это свидетельство
действительно сделано и по-
писано г. Ник. Платоновичем
Огаревым, утверждаю

Наталя Герцен
Наталя Герцен
Семен Серебренников

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕДАЧЕ
ОГАРЕВЫМ НЕЧАЕВУ ЧАСТИ
БАХМЕТЕВСКОГО ФОНДА.
СОСТАВЛЕНО 20 ИЮНЯ 1870 г.
Написано рукой Н. А. Герцен.
Огареву принадлежит только подпись.

«Пранская коллекция»

Центральный архив литературы
и искусства, Москва

Н. А. Герцен немало постаралась, чтобы раскрыть Огареву глаза и убедить его, что он должен держаться от Нечаева в стороне. Что эти усилия не остались безрезультатными, свидетельствуют следующие слова Н. А. Герцен в ее письме к П. Л. Лаврову от 10 июля 1870 г.: «...теперь Бакунин и даже Огарев убеждены в том, что их надували и прекратили все сношения с Нечаевым и его товарищами...» (Архив ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 198, оп. 4, ед. хр. 107).

Поведение Н. А. Герцен во всей истории ее сношений с Нечаевым вызвало одобрение лучшей части «молодой эмиграции». Так, по воспоминаниям Л. Ф. Маклаковой, Л. И. Мечников «очень хвалил старшую дочь Герцена Наталью Александровну, рассказывая, как ее старался увлечь известный Нечаев и как это ему не удалось» («Лев Ильич Мечников и мое знакомство с ним». — Рукописный отдел Государственного литературного музея).

* * *

Большая часть писем Н. А. Герцен начала семидесятых годов не представляет сколько-нибудь значительного общественного и литературного интереса. Однако в ней не угас интерес к политическим событиям, на которые она продолжает откликаться в последующих письмах к Огареву. В ее письмах 1870—1874 гг. содержатся сведения о некоторых деятелях «молодой эмиграции» — М. К. Элпидине, Лазареве, В. Л. Добровольском, С. И. Серебренникове, Александрове, она сообщает об открытии эмигрантской общественной столовой, об организации русской библиотеки, к участию в которой она приглашает Огарева, о своем посещении «Internationale».

С большой симпатией отзывается она в одном из писем (от 20 февраля 1872 г.) о Германе Лопатине.

Живой интерес вызывают у Н. А. Герцен события во Франции, связанные с Парижской Коммуной, к деятелям которой она выражает неизменное сочувствие. Приведем соответствующие отрывки из нескольких ее писем:

«...Из Франции совсем нехорошие известия, судя по *Supplément du Journal de Genève* *...» (от 3 апреля 1871 г. — из Женевы).

«...А мы читаем газеты и охаем да ахаем над судьбой Коммуны...» (от 2 июня 1871 г. — из Паки).

«...А что это делается во Франции? Злодеи, они расстреляли Фере, Росселя и Буржуа, — чем кончится все это кровопролитие и все эти ужасы?...» (от 1 декабря 1871 г. — из Цюриха).

В 1874 г. Н. А. Герцен, находясь в Париже, узнала, что швейцарское правительство намеревается предложить группе русских эмигрантов, в том числе и Огареву, покинуть пределы страны. Этот акт произвола, предпринятый под давлением русского самодержавия, вызвал у дочери Герцена глубокое возмущение, которое она выразила в ряде писем к Огареву:

«Неужели это правда, милый Ага?! Швейцария вас выгоняет? Мне что-то не верится; это было бы так возмутительно. Под каким предлогом они могут принудить тебя выехать? Пожалуйста, расскажи нам все подробности...» (15 июня 1874 г.).

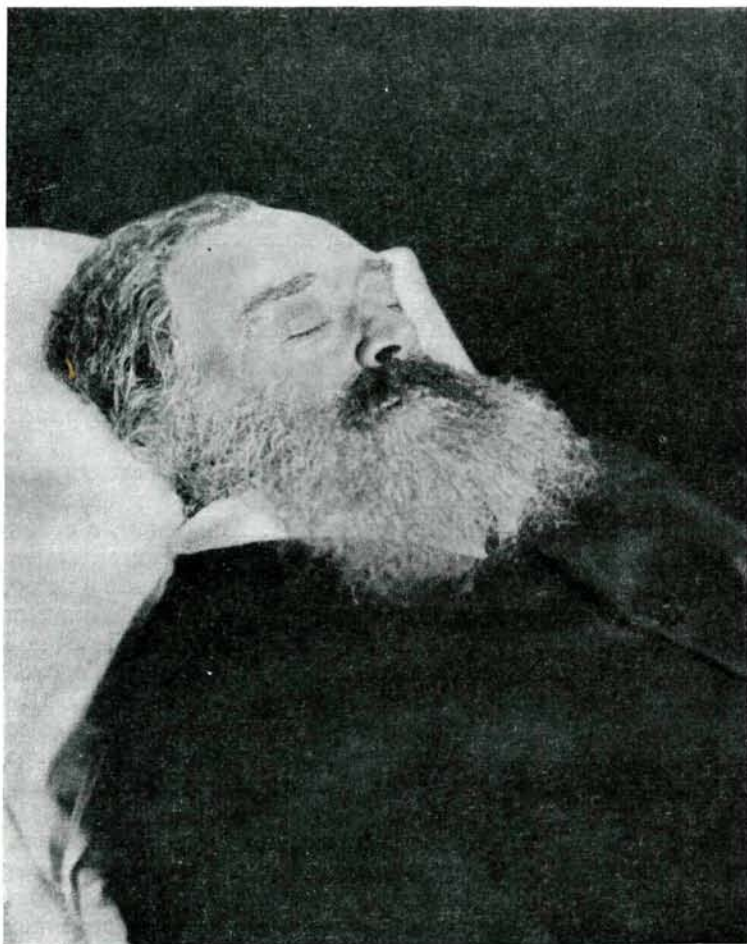
«...Мысль о том, что ты хочешь уехать еще дальше от нас, нас очень беспокоит. Хотя бы ты переехал сюда или во Флоренцию, если уж никак нельзя будет остаться в Швейцарии. Я уверена, что тебе позволили бы остаться преспокойно в Женеве, если бы хлопотать об этом. Как ты думаешь? Неужели все девятнадцать человек эмигрантов или часть их — те,

* Приложению к «Женевской газете» (франц.).

которые в Швейцарии, в самом деле в необходимости ехать? Я все еще верить не могу, что Швейцария решается так подло поступать...» (7 июля 1874 г.).

В том же письме Н. А. Герцен спрашивает:

«Отдал ли тебе Озеров портрет Галилея (писанный мной масляными красками)? Он должен остаться у тебя, Ага, а не то вернуться ко мне. Ты чужим не отдавай его...».



ОГАРЕВ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Фотография, 12 или 13 июня 1877 г.

«Пражская коллекция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Огарев посвятил этой работе стихотворение «На твоего я смотрю Галилея...»; в нем он выражал сожаление о том, что Н. А. Герцен бросила живопись: «Твоя жизнь для нее совершенно готова...». Мысль, что она бросила кисть, угнетала его:

Увидишь, что просто пропала мечта
О том, что есть радость, иль есть красота.

Серия публикуемых писем заканчивается запиской, в которой Н. А. Герцен сообщает из Гавра, что она возвращается в Женеву:

«Подробности расскажу viva voce *, через 8—10 дней. До свидания. Обнимаю и крепко тебя целую. До свидания.

Где пан Тхоржевский? Увижу я его в Женеве или нет?

Где мой Галилей? Надеюсь, Озеров отдал тебе его».

С возвращением Н. А. Герцен в Женеву переписка ее с Огаревым, естественно, прекратилась.

Вскоре Огарев уехал из Швейцарии. Он не принял предложения детей Герцена поселиться с ними во Флоренции или в Париже. Он вернулся в Англию, где прошли годы его работы с Герценом у станка вольного русского слова.

Дружеские отношения к детям Герцена, и особенно к Тате, сохранились у него до самого конца жизни. Н. А. Герцен, извещенная Мери Стерленд о тяжелом состоянии больного Огарева, приехала в Англию. В письме к Н. А. Тучковой-Огаревой от 14 июня 1877 г. она описала его кончину (опубликовано Т. П. Пассек — «Из дальних лет», т. III. СПб., 1906, стр. 44—45). Огарев умер с мыслями о своем друге: последние слова, сказанные им, были: «Твой отец,— твой отец написал брошюрку после письма» (там же, стр. 95).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После смерти Огарева Н. А. Герцен еще с большей сосредоточенностью отдал свои силы делу собирания и хранения литературного наследия Герцена и Огарева, делу увековечения их памяти.

Когда Е. С. Некрасова в 1890-х годах приступила к организации комнаты Герцена при Румянцевском музее в Москве (из цензурных соображений названной «комнатой 40-х годов»), Н. А. Герцен, с согласия брата, Александра Александровича, выделила для этой комнаты ценные материалы. Радушно встречала она всех русских, посещавших ее, с живым интересом расспрашивала обо всем, что происходило в России. Н. Макшеева в своих заметках «Потомки Герцена» (Рукописный отдел Государственного литературного музея) рассказала о кружке молодежи, который группировался в девяностых годах вокруг Н. А. Герцен. Н. Макшеева сообщает, что в 1898 г., в дни разгула реакции во Франции (в связи с процессом Дрейфуса), Н. А. Герцен посетила полковника Пикара, который разоблачил шпиона Эстергази, оклеветавшего Дрейфуса, и был заключен в тюрьму, и поднесла ему букет.

Е. А. Ляцкий в своих неизданных воспоминаниях рассказал о встрече в августе 1910 г. с Н. А. Герцен, которая сообщила ему о посещении Герцена Пыпиным. «Он приезжал в Лондон и был у отца,— говорила Наталья Александровна.— Я была тогда совсем еще маленькой девочкой. Он провел у нас целый день, за завтраком и обедом его сажали рядом со мной. Они говорили, кажется, о Чернышевском и о каком-то журнале, который Чернышевский хотел издавать за границей. Это, впрочем, я слыхала позже от отца. Тогда я еще была мала, не правда ли?— и не могла многого уяснить себе...»

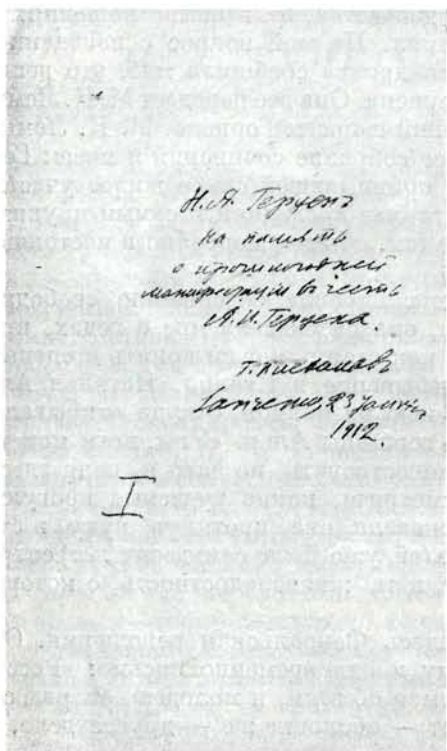
«Не помните ли, Наталья Александровна, как относился Александр Иванович к Чернышевскому?» — спросил ее Ляцкий.

«Многого я не могу вам рассказать, не помню,— отвечала Наталья Александровна,— но, кажется, они не сходились во взглядах. Отец был менее радикален. Он все был уверен, что перемена в России может наступить без крайних мер. Этим объясняется, что мы и в Лондоне и здесь всегда нанимали меблированные квартиры. Отец говорил, что не надо обзаводиться,

* устно (лат.).

что вот-вот наступит в России другой режим и мы поедем к себе, домой. Отцу так этого хотелось. Это была мечта всей его жизни.

Сравнивая отца с Тургеневым, Н. А. Герцен говорила Ляцкому: «Тургенев был un vrai nihiliste... c'est lui qui a inventé ce mot, n'est-ce pas? * Он ни во что не верил — ни в дворянство, ни в народ <...> А мой отец верил в Россию, в русский народ, все время верил, до последней минуты, несмотря на все разочарования, на все неудачи. Он твердо знал,



ОТТИСК СТАТЬИ Г. В. ПЛЕХАНОВА «А. И. ГЕРЦЕН И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО»
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА Н. А. ГЕРЦЕН, 23 ЯНВАРЯ 1912 Г.

«Правжская коллениция»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

чего он хотел для России» (Е. Л я ц к и й. Воспоминания о Рейхель.— Машинописная копия. ЛБ, Г.—О. XIII, 14, лл. 17—18.— Сообщено Л. Р. Ланским).

Пишущему эти строки довелось навестить Наталью Александровну в Лозанне весной 1914 г. До этого я письменно обращался к ней еще в 1911 г. с вопросом касательно публикации неизданной части «Былого и дум». Я получил ответ (от 16 июня 1911 г.):

«Милостивый государь. Причины, мешавшие моему отцу печатать тот отрывок „Былого и дум“, о котором вы говорите, существуют еще теперь, и сам отец мой был бы против их издания в настоящее время. С совершенным почтением Н. Герцен».

* настоящий нигилист... это он ввел это слово, не правда ли? (франц.).

В 1914 г. я приехал в Лозанну, чтобы узнать, не пришло ли, наконец, время для публикации полностью «Былого и дум». Кабинет Натальи Александровны напомнил мне портретами, украшавшими его стены, московскую «комнату 40-х годов». Она жила и работала здесь, окруженная образами былого. Когда Наталья Александровна вошла в комнату, меня поразило сходство ее с отцом. В особенности напоминал Герцена высокий выпуклый лоб и большие живые темносерые глаза. Узнав, что я русский студент, Наталья Александровна оживилась и со вниманием расспрашивала об интересах современного студенчества, о взаимоотношениях с профессорами, о студенческих волнениях. На мой вопрос о неизданной части «Былого и дум» Наталья Александровна сообщила мне, что решилась опубликовать весь архив семьи Герцена. Она все передает М. К. Лемке для издания полного собрания сочинений и писем Герцена. М. К. Лемке, доведший до конца двадцатидвухтомное собрание сочинений и писем Герцена, многим был обязан его дочери, принимавшей самое живое участие в этом дорогом для нее начинании. Это был последний и самый крупный ее вклад в дело служения памяти отца (см. об этом подробно в настоящем томе, стр. 831—855).

По-русски говорила Наталья Александровна совершенно свободно. Узнав, что я возвращаюсь из Италии, она рассказала мне о годах, проведенных в Риме и Флоренции, о том, как отец помог ей понять и оценить «вечный город». Вспоминая свое пребывание в Италии, Наталья Александровна пригласила меня выйти с нею на балкон, откуда открывался вид на Женевское озеро и на горные вершины Альп. «Увы, ноги мои теперь ослабли, я не могу больше путешествовать, но зато я, сидя здесь, могу путешествовать глазами, и посмотрите, какие чудесные прогулки я могу совершать с их помощью», — сказала она, протянув руку в сторону озера. В этой пожилой женщине (ей уже было семьдесят лет) сохранились и мягкий юмор, и живой ум, и та жизнерадостность, о которой писали знавшие ее.

Радостным событием для нее явилась Февральская революция. Она послала Лемке ликующую телеграмму и одновременно письмо: «Россия воскресла, воистину воскресла! И, думая об этом, я молодею от радости и счастья... т. е. душа моя молодеет — оболочка же — другое дело, ее не поправишь».

Н. А. Герцен в том же письме сообщала о своем страстном желании вернуться на родину. «Если б не трудное, утомительное и опасное из-за войны путешествие, я была бы уже в Москве».

Первая мировая война кончилась... Но дочь Герцена так и не вернулась на родину.

Умерла она в сентябре 1936 г., вдали от России, в Лозанне.